

ВМЕСТО СТРАХА — НАДЕЖДА, ВМЕСТО ОТЧАЯНИЯ — ЖИЗНЬ



Диана Акерман

ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗООПАРКА

ЧИТАЙТЕ КНИГУ! СМОТРИТЕ ФИЛЬМ!



Annotation

В книге «Жена смотрителя зоопарка» Диана Акерман с блеском, юмором и бесконечным сочувствием к своим героям воплотила подлинную историю войны и величия человеческого духа. В ней рассказывается о героической чете Жабинских, владельцах Варшавского зоопарка, которые во время Второй мировой войны прятали в разоренных вольерах людей из еврейского гетто и таким образом спасли около трехсот жизней. Это ошеломляющий и трогательный рассказ о людях и животных, о глубинных связях между человеком и природой; гимн красоте, тайне и неистребимости жизни.

В марте 2017 года на все мировые экраны вышел одноименный фильм с участием Джессики Честейн и Даниэля Брюля.

Впервые на русском языке!

Диана Акерман

Жена смотрителя зоопарка

Diane Ackerman
THE ZOOKEEPER'S WIFE
Copyright © 2007 by Diane Ackerman
All rights reserved

© Е. Королева, перевод, 2017
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017
Издательство АЗБУКА®

* * *

Посвящается Антонине и ее семье: людям и зверям

Предисловие автора

Ян и Антонина Жабинские работали в зоопарке, они были христианами, и их приводил в ужас нацистский расизм, но они воспользовались одержимостью нацистов редкими животными, чтобы спасти более трехсот обреченных на смерть людей. Их история затерялась между пластами большой истории, как иногда случается с примерами наивысшего милосердия. Однако в военной Польше карали смертью даже за стакан воды, поданный страдающему от жажды еврею, поэтому от героизма Жабинских захватывает дух.

Чтобы рассказать их историю, я обращалась ко многим источникам, указанным в библиографии, но прежде всего к мемуарам («основанным на моем дневнике и разрозненных заметках») самой «жены зрителя зоопарка», Антонины Жабинской, которые в полной мере передают очарование зоопарка; к ее автобиографическим книгам для детей, таким как «Жизнь в зоопарке»; к книгам и воспоминаниям Яна Жабинского; к интервью Антонины и Яна, которые они давали польским и еврейским (издававшимся на идише и иврите) газетам. Каждый раз, когда я пишу, что Антонина или Ян подумали, заинтересовались, почувствовали, я цитирую их собственные записи или интервью. Я также основывалась на семейных фотографиях (именно поэтому знаю, что Ян носил часы на запястье левой руки, а Антонина питала слабость к платьям в горошек); на беседах с их сыном Рышардом и разными людьми из Варшавского зоопарка, с варшавскими женщинами, современницами Антонины, которые тоже работали на польское подполье; на работах Лутца Гека; на экспонатах музеев, таких как впечатляющий Музей Варшавского восстания и красноречивый Музей холокоста в Вашингтоне; на архивах Государственного зоологического музея; на мемуарах и письмах, собранных подпольной группкой архивистов во время войны, которые прятали (в коробках и молочных бидонах) документы, ныне хранящиеся в Еврейском историческом институте Варшавы; на показаниях свидетелей, записанных для уникальной израильской программы «Праведники мира» и потрясающего проекта «Шоа»; на письмах, дневниках, проповедях, мемуарах, статьях и прочих письменных документах обитателей Варшавского гетто. Я узнала, как нацисты надеялись не только доминировать над нациями и идеологиями, но еще и изменить экосистемы мира, истребляя в некоторых странах исконные виды растений и животных (включая человека), и в то же время они делали все возможное, чтобы защитить другие виды животных и растений от вымирания и даже воскресить уничтоженные, такие как тур и зубр. Я внимательно изучала путеводители по животному и растительному миру Польши (и изучение природы Польши превратилось в непрерывную череду маленьких открытий); книги, посвященные традициям Польши, ее кухне и фольклору; книги, посвященные ученым нацистов, их лекарственным препаратам, оружию и прочему. Я с удовольствием читала о хасидизме, каббале и языческом мистицизме начала двадцатого столетия, об оккультных корнях нацизма и о столь прагматических вещах, как социальная и политическая история Польши и модные в ту эпоху абажуры для ламп.

Полученными знаниями я также обязана моей бесценной советнице по Польше Магде Дэй, которая прожила в Варшаве первые двадцать шесть лет своей жизни, и ее дочери Агате М. Окулич-Козариной. За время поездки в Польшу я получила массу впечатлений от Беловежской пуши и самого Варшавского зоопарка, где я бродила по старой вилле и гуляла по соседним улицам, повторяя маршруты Антонины. Я особенно признательна доктору Мацею Рембишевскому, нынешнему директору Варшавского зоопарка, и его жене Эве

Забониковской, щедро тратившим на меня свое время и вдохновение, а также всему персоналу зоопарка за их эрудицию, изобретательность и гостеприимство. Мои благодарности Элизабет Батлер за ее неутомимую и всегда воодушевляющую поддержку и профессору Роберту Ян ван Пелту за его деликатную критику.

Я пришла к этой книге, как и ко всем остальным своим книгам, очень личным путем. Мои дедушка и бабушка по материнской линии родом из Польши. Я постоянно слышала подробные рассказы о повседневной жизни Польши от деда, который вырос в Летне, пригороде Пшемысля, откуда уехал перед Второй мировой войной, и от матери, чьи родственники и друзья скрывались по всевозможным убежищам и лагерям. Мой дед, живший на небольшой ферме, пересказывал мне разные легенды, которые переходили из поколения в поколение.

В одной из таких баек говорилось о городке с небольшим цирком, и в этом цирке неожиданно умер лев. Директор цирка предложил притвориться львом одному бедному еврей, и еврей согласился, потому что ему очень нужны были деньги. Директор сказал: «Тебе всего-то придется носить львиную шкуру и сидеть в клетке, и люди будут верить, что ты настоящий лев». Еврей надел шкуру, бормоча себе под нос: «Это самая странная работа в моей жизни», – но тут его размышления прервал какой-то шорох. Он обернулся и увидел, как в клетку входит еще один лев, пристально глядя на него голодным взглядом. Еврей задрожал, перетрусив, не зная, как спастись, и он сделал единственное, что пришло ему в голову, – принялся громогласно возносить иудейскую молитву. Не успел он выкрикнуть в отчаянии первые слова: «Шма, Исраэль» («Слушай, Израиль»), как второй лев подхватил «адонай элохейну» («Господь один»), после чего оба лже льва вместе закончили молитву. Я и представить себе не могла, насколько эта легенда отражает подлинную историю.

В одном из приречных районов Варшавы свет утреннего солнца скользил по стволам цветущих лип и осторожно перемещался по белым стенам виллы, выстроенной в духе тридцатых годов (штукатурка и стекло), где в кровати из белой березы – из такой древесины делают каноэ, медицинские шпатели и виндзорские кресла – спали директор зоопарка и его жена. Слева от них два высоких окна венчали широкий подоконник, на котором было удобно сидеть, со спрятанной под ним маленькой батареей отопления. Восточные ковры согревали пол из паркетных досок, уложенных вдоль комнаты, один угол которой занимало кресло из березы.

Когда ветерок приподнимал прозрачную занавеску настолько, что зернистый свет, не порождая теней, начинал просачиваться в комнату, ее еще едва различимые предметы возвращали Антонину в осязаемый мир. Скоро завопят гиббоны, а под их сумасшедшее уханье спать не может никто – ни просидевший всю ночь над книжками студент, ни грудной младенец. И уж точно не жена директора зоопарка. Ее каждодневно поджидали многочисленные домашние дела, и она ловко справлялась и с приготовлением пищи, и с малярной кистью, и со швейной иглой. Кроме того, ей самой приходилось решать и проблемы зоопарка, иногда весьма необычные (например, утихомиривать щенков гиены), что требовало от нее и определенных навыков, и интуиции.

Муж Антонины, Ян Жабинский, обычно поднимался раньше нее, натягивал брюки и рубашку с длинным рукавом, надевал на волосатое запястье левой руки большие часы и беззвучно спускался вниз. Высокий и худощавый, с крупным носом, темными глазами, мускулистыми плечами человека физического труда, он был немного похож телосложением на ее отца, Антония Эрдмана, польского железнодорожного инженера, который жил в Санкт-Петербурге и по долгу службы изъездил всю Россию. Как и Ян, отец Антонины был мозговитым, и этого оказалось достаточно, чтобы его и мачеху девятилетней Антонины расстреляли в первые дни Октябрьской революции 1917 года как представителей интеллигенции. И Ян, как и отец Антонины, тоже был в каком-то смысле инженером, только он выстраивал мосты между людьми и животными, а также между людьми и их животной природой.

Лысеющему, с венчиком темно-каштановых волос, Яну приходилось носить шляпу, чтобы летом защищаться от палящего солнца, а зимой от мороза, поэтому на всех уличных фотографиях он обычно в мягкой фетровой федоре, придающей ему вид собранный и целеустремленный. На некоторых снимках в интерьере он запечатлен за письменным столом или в радиостудии: челюсти плотно сжаты, кажется, что его легко вывести из себя. Даже когда он выбрит, легкая щетина все равно заметна, особенно в желобке под носом. Полная, аккуратно очерченная верхняя губа демонстрирует идеальный двойной пик, который женщины создают с помощью карандаша, эти «губки бантиком» – единственная в нем женственная черта.

После гибели родителей тетя Антонины позаботилась о том, чтобы девочка была постоянно занята: она училась в музыкальной школе при Ташкентской консерватории и

посещала общеобразовательную школу, которую окончила в пятнадцать лет. И в тот же год они переехали из Узбекистана в Варшаву, где Антонина училась иностранным языкам, рисованию и живописи. Она понемногу преподавала сама, сдала экзамены на должность архивиста и работала в Варшавской сельскохозяйственной академии, где и познакомилась с Яном, зоологом, на одиннадцать лет старше ее, который изучал рисунок и живопись в Академии изящных искусств и разделял ее увлечение как животными, так и анималистическим искусством. Когда в 1929 году освободилась должность директора зоопарка (директор-основатель умер через два года после открытия), Ян и Антонина ухватились за возможность формировать новый зоопарк и жить рядом с животными. В 1931 году они поженились и переехали за реку в Прагу, в бедный и опасный промышленный район со своим уличным сленгом, зато всего в пятнадцати минутах езды на трамвае от центра города.

В прежние времена зоопарки были частными и свидетельствовали о высоком статусе их владельцев. Любой мог устроить у себя кабинет редкостей, однако требовались средства и некоторая доля безумия, чтобы коллекционировать самых больших крокодилов, самых старых черепах, самых тяжелых носорогов и самых редких орлов. В XVII веке король Ян III Собеский держал у себя при дворе много экзотических животных: зажиточные дворяне иногда устраивали у себя в поместьях частные зверинцы, чтобы подчеркнуть свое богатство.

Многие годы польские ученые лишь мечтали о большом зоопарке в столице, который мог бы соперничать с другими зоосадами Европы, в особенности с великолепными немецкими, известными во всем мире. И польские дети тоже требовали зоопарк. Европе в наследство досталось немало волшебных сказок с говорящими зверями – иногда почти реальными, иногда на редкость неправдоподобными, – чтобы воспламенить воображение ребенка и вернуть взрослого в любимые фантазии детства. Антонину радовало, что ее зоопарк стал оазисом легендарных созданий, где оживают страницы книг и люди могут общаться с дикими зверями. Мало кто видел, как пингвины на животах скатываются с горки в море или как дикобразы из Скалистых гор сворачиваются в шар, похожий на гигантскую сосновую шишку, и она была уверена, что встреча с подобными животными в зоопарке расширяет взгляд посетителей на природу, делает его личностным и сознательным. Здесь жила *дикая* природа, этот неистовый прекрасный монстр, посаженный в клетку и прирученный.

Каждое утро, едва над зоопарком занималась заря, в попури из подслушанных песенок изливался скворец, вдалеке выводили свои арпеджио вьюрки и монотонно, как заклинившие часы, подавали голос кукушки. Внезапно начинали трубно голосить гиббоны, и их безумные вопли были настолько громкими, что волки и охотничьи собаки принимались выть, гиены хохотать, львы рычать, вороны каркать, павлины орать, носороги фыркать, лисы тьякать, бегемоты реветь. Затем гиббоны переходили к дуэтам: самцы перемежали свои вопли протяжными визгами, а самки привносили каскады долгих стонов в «большой крик». В зоопарке жило несколько сложившихся пар, и гиббоны-супруги дополняли йодль обычных своих песен увертюрами, кодами, интерлюдиями, дуэтами и соло.

Ян и Антонина научились жить не просто в текущем времени, а по сезону. Как и большинство людей, они все же сверялись с часами, однако их повседневная жизнь никогда не бывала вполне обыденной, поскольку складывалась из разных реальностей, одна из которых была настроена на животных, другая – на людей. Когда графики накладывались друг на друга, тогда Ян поздно возвращался домой, а Антонина вставала ночью, чтобы, к примеру,

принимать роды у жирафа (дело всегда рискованное, поскольку эти животные рожают стоя, детеныш вываливается головой вперед, а мать даже не пытается ему помочь). Все это привносило в каждый день ожидаемую новизну, и хотя подобные проблемы не позволяли расслабиться, они же расцветивали ее жизнь маленькими приятными сюрпризами.

Застекленная дверь в спальне Антонины открывалась на широкую террасу на втором этаже в задней части дома, куда можно было попасть из всех трех спален и из узкой кладовой, которую они называли чердаком. С террасы Антонина могла вглядываться в остроконечные верхушки вечнозеленых деревьев, вдыхая речную свежесть, смешанную с ароматом цветущей сирени, посаженной под шестью высокими окнами жилых комнат. В теплые весенние дни пурпурные гроздья покачивались, словно кадила, и сладкий упоительный запах накатывал волнами, в паузах давая носу передышку. Стоя на этой террасе, вдыхая воздух, напоенный запахом гинкго и елей, легко было ощутить себя обитателем джунглей. На заре тысячи водяных призм украшали можжевельник, который можно было разглядеть между тяжелыми ветвями дуба за Фазаньим домом, недалеко от главного входа в зоопарк, примерно в пятидесяти ярдах от Ратушовой улицы. Стоит ее пересечь, и вы в Пражском парке, куда многие варшавяне ходили в теплые дни, когда кремово-желтые цветки липы разливают в воздухе дурманящий аромат меда под румбу пчел. Липы традиционно воплощают самый дух лета, и название месяца *липец* означает июль. Когда-то посвященные богине любви, с приходом христианства они стали прибежищем Марии, и в придорожных часовнях под липами путники до сих пор молятся ей об удаче. В Варшаве липы оживляют парки, окружают кольцом кладбища и рынки, маршируют вдоль бульваров. Почитаемые как слуги Господа пчелы, которых манит липовый цвет, дают мед и медовуху для стола, восковые свечи для церковных служб, и поэтому многие церкви высаживают в своих дворах липы. Эта связь, пчела – церковь, сделалась настолько прочной, что однажды, на рубеже пятнадцатого столетия, жители Мазовше издали закон, по которому за кражу меда и порчу ульев полагалась смертная казнь.

Во времена Антонины поляки оберегали пчел уже не столь рьяно, но все равно весьма прилежно, и Ян держал в самом дальнем конце зоопарка несколько ульев, поставленных тесно, словно хижины туземцев. Домохозяйки использовали мед, чтобы подслащивать холодный кофе, готовили *крупник*, медовый ликер, пекли *перник*, полусладкую коврижку с медом и специями, или *пернички*, медовые пряники. Пили липовый чай от простуды или для успокоения нервов. Во время цветения липы Антонина, отправляясь через парк к трамвайной остановке, в церковь или на рынок, неизменно проходила по древесным коридорам, полным густого аромата липовых цветков и жужжания слухов и домыслов, – на местном жаргоне «липа» означает еще и безобидную ложь.

За рекой контуры Старого города проступали из тумана раннего утра, словно строки, написанные невидимыми чернилами, – сначала только крыши, изогнутая терракотовая черепица которых уложена внахлест, как голубиные перья, затем появлялись ряды домов, бирюзовые, розовые, желтые, красные, цвета меди и бежевые, выстроившиеся вдоль мощенных бульжником улиц, которые тянулись к Рыночной площади. В тридцатые годы в варшавской Праге имелся собственный открытый рынок на Зубковской улице, рядом с водочным заводом, похожим на приземистый замок. Однако тот рынок не был таким праздничным, как рынок Старого города, где дюжины торговцев под желто-коричневыми навесами предлагали овощи и фрукты, ремесленные изделия и еду, в витринах был выставлен балтийский янтарь, а ученый попугай за несколько грошей вытаскивал вам

предсказание из маленького горшочка, полного скрученных в трубочку бумажек.

Сразу за Старым городом начинался большой еврейский квартал – с паутиной улочек, с женщинами в париках и мужчинами с завитыми пейсами, с религиозными танцами, со смесью диалектов и ароматов, с крошечными лавчонками, крашеными шелками, домами под плоскими крышами и с железными балконами, выкрашенными в черный, розовый и мшисто-зеленый, – они теснились друг над другом, словно ложи в опере, только заполненные не людьми, а горшками с помидорами и цветами. Здесь можно было найти особый вид польских пирогов, большие плотные *креплахи*: пельмени размером с кулак, начиненные тушеным мясом с луком, которые варят, запекают или жарят, отчего они приобретают хрустящую корочку и становятся жесткими, как бублик-бейгл.

Сердце еврейской культуры в Восточной Европе, квартал имел еврейский театр и кино, газеты и журналы, тут были свои художники, издательские дома, политические организации, спортивные и литературные клубы. Многие века Польша предоставляла убежище иудеям, спасавшимся бегством от преследований в Англии, Франции, Германии и Испании. На некоторых польских монетах двенадцатого века есть даже надписи на древнееврейском, а в одной легенде сказано, что иудеев так привлекает Польша, потому что название страны на древнееврейском звучит как *po lin* («отдохни здесь»). Тем не менее в Варшаву двадцатого столетия все же проникли антисемитские настроения, в город, где из миллиона трехсот тысяч жителей треть составляли евреи. Они селились в основном в квартале, но также жили и в более уважаемых районах города, в большинстве случаев сохраняя самобытную одежду, язык и культуру, причем кто-то вообще не говорил по-польски.

Летним утром Антонина привычно облакачивалась на широкий плоский выступ стены на террасе, крытый оранжевой, как абрикос, черепицей, настолько прохладной, что на ней выступала роса, от которой отсыревали рукава ее красного платья. Ржание, мычание, рев и урчание доносились не только снаружи – некоторые звуки исходили из подвального этажа виллы, некоторые с крыльца, с самой террасы или чердака. На вилле у Жабинских жили не только домашние питомцы, но и осиротевшие новорожденные или больные звери из зоопарка. Обязанность кормить и приручать «квартирантов» лежала на Антонине, и ее зверье шумно требовало корма.

Животные были даже в гостиной. Из-за шести высоких окон, которые можно было запросто принять за пейзажи на стене, граница между тем, что было внутри, и тем – что снаружи, размывалась в этом длинном и узком салоне. Через комнату тянулся большой деревянный стеллаж, и его многочисленные полки были завалены книгами, журналами, птичьими гнездами и перьями, маленькими черепами, яйцами, рогами и прочими предметами. Возле нескольких приземистых кресел с красными подушками на восточном ковре стояло фортепьяно. В самом теплом углу, в дальнем конце комнаты, темно-коричневая плитка украшала очаг камина, на полке которого покоился выбеленный солнцем череп бизона. Кресла стояли рядом с окнами, где их заливал послеполуденный свет.

Один журналист, побывавший на вилле, чтобы взять интервью у Яна, очень удивился, когда в гостиную вошли два кота, у одного была забинтована лапа, у другого – хвост, вслед за ними явился попугай с металлическим раструбом на шее, потом приковывал ворон со сломанным крылом. Вилла кишела животными, что Ян объяснял очень просто: «Проводить исследования на расстоянии недостаточно. Только живя рядом с животными, можно изучать их поведение и психологию». Когда Ян отправлялся на свой ежедневный объезд зоопарка на велосипеде, за ним бежал крупный лось по кличке Адам, его неизменный компаньон.

Была какая-то алхимия в этом столь тесном единении с животными – львятами, волчатами, обезьяньими детенышами и орлятами, когда запахи животных, производимый ими шум и голоса сливались с запахами человеческого тела и кухни, с человеческой болтовней и смехом... Разношерстное семейство, живущее в одной норе. Поначалу каждого нового члена этого сообщества укладывали спать и кормили по его прежнему расписанию, но постепенно, по мере сближения жизненных ритмов, все животные начинали действовать синхронно. За исключением, впрочем, дыхания: по ночам ритмы сонных вдохов и сопения порождали немыслимую зоологическую кантату.

Антонина была очарована тем, как животные исследуют мир с помощью своих чувств. Она и Ян быстро научились замедлять движения рядом с хищниками, такими как дикие кошки, потому что благодаря близко посаженным глазам эти звери точно определяют расстояние до цели и обычно волнуются, заметив быстро движущийся объект в паре прыжков от себя. Лошади и олени наделены панорамным зрением (чтобы замечать, как подкрадывается хищник), но они легко ударяются в панику. А хромой пестрый орел, сидевший на привязи в цокольном этаже, был, по сути, биноклем с крыльями. Щенки гиены замечали приближение Антонины даже в крошечной тьме. Другие животные могли почувствовать ее, уловить ее запах, услышать тишайший шорох ее платья, ощутить ее шаги по вибрации половиц, если те сдвинулись хотя бы на волосок, даже распознать ее по движению воздуха. Она завидовала этому набору древних, тонко настроенных чувств; людей, наделенных обычными для животных способностями, жители Запада называли когда-то магами.

Антонина любила на время выскользнуть из человеческой кожи и понаблюдать за миром глазами животных, она часто записывала свои наблюдения, во время которых интуитивно постигала их опасения и умения, предполагая, что они могут видеть, чувствовать, чего боятся, что ощущают и вспоминают. Когда она входила в круг их знаний, происходил метемпсихоз чувств, и, словно котят рыси, воспитанные ею, она всматривалась в мир шумных, непоседливых созданий.

«...С ногами и маленькими, и большими, которые шагали в мягких тапочках или прочных туфлях, тихо или шумно, источая слабый запах материи или сильный запах крема для обуви. Тапочки из мягкой ткани двигались спокойно и деликатно, они не пинали мебель, и находиться рядом с ними было безопасно... приговаривая „кис-кис“, появлялась голова с растрепанными светлыми волосами и глазами, скрытыми стеклами больших очков, которая наклонялась над тобой... Скоро стало ясно, что мягкие тряпичные тапочки, светлая растрепанная голова и высокий пронзительный голос принадлежат одному и тому же существу».

Выходя за пределы самое себя, ставя свои чувства в один ряд со звериными, она занималась своими питомцами с неослабевающим интересом, и что-то в этой сонастроенности помогало тем чувствовать себя в безопасности. Благодаря уникальной способности успокаивать неуправляемых животных Антонина завоевала уважение и работников зоопарка, и мужа, который, хотя и надеялся, что наука сумеет найти этому объяснение, все же считал ее дар странным и мистическим. Ян, человек, преданный науке, приписывал Антонине «метафизические волны» едва ли не шаманской эмпатии, когда это касалось животных: «Она настолько чувствительна, что чуть ли не читает их мысли... Она

становится ими... Она обладает поразительным и весьма специфичным даром, редчайшей способностью наблюдать и понимать животных, это какое-то шестое чувство... И так у нее было с самого раннего детства».

Каждое утро она наливала себе на кухне чашку черного чая, после чего принималась стерилизовать стеклянные бутылочки и резиновые соски для домашней малышни. Ей, зоопарковской няньке, повезло взять на воспитание двух рысят из Беловежской пуши, единственного реликтового леса, сохранившегося на всей территории Европы, экосистемы, которую поляки называют «пушча», и это слово означает древний лес, не оскверненный руками человека.

Беловежская пуша раскинулась на границе между современной Белоруссией и Польшей и объединяла эти государства на уровне мифологии и оленьих рогов, традиционно являя собой знаменитые охотничьи угодья королей и царей (у которых были здесь нарядные охотничьи домики); во времена Антонины пуша находилась под пристальным вниманием ученых, политиков и браконьеров. Самое крупное сухопутное животное Европы, европейский (или лесной) зубр, обитало под охраной в этих лесах; и сокращение поголовья зубров помогло оживить программу их сохранения в Польше. Двухязычная полька, родившаяся в России и вернувшаяся в Польшу, Антонина чувствовала себя как дома на этой зеленой перемычке, объединившей разные политические режимы, гуляя в сени пятисотлетних деревьев, в лесу, похожем на крепкий, хотя и уязвимый, снабженный всем необходимым организм, который не имел видимых границ. Нетронутые акры девственного леса были объявлены неприкосновенными, это царство самолеты облетают за многие мили, чтобы не пугать животных и не вредить растительному миру. Глядя вверх сквозь раскрытые парашюты древесных крон, можно иногда увидеть в вышине самолет, похожий на маленькую безмолвную птицу.

В пушу заглядывали охотники, хотя это было запрещено, – и детеныши животных оставались сиротами, самых редких из них обычно отправляли в зоопарк в ящиках с надписью «Живое животное». Зоопарк служил для них спасательной лодкой, и весь апрель, май и июнь – время появления потомства у зверей – Антонина поджидала капризных отпрысков, у каждого из которых был свой нрав и своя диета. О месячном волчонке мать и другие члены стаи обычно заботятся до двухлетнего возраста. Чистенький и общительный детеныш барсука любит долгие прогулки и питается насекомыми и травами. Полосатые поросята дикого кабана отдают должное любым отходам с обеденного стола. Детеныша благородного оленя, то есть олененка, ноги которого неуклюже разъезжаются на деревянном полу, выкармливают из бутылочки до середины зимы.

Любимчиками Антонины были Тофи и Туфа, трехнедельные котята рыси, которых пришлось кормить из бутылочки целых полгода, и даже в годовалом возрасте они еще не были самостоятельными (да и позже предпочитали гулять на поводке по оживленным улицам варшавской Праги, где прохожие, разинув рты, глазели на них). Поскольку в Европе почти не осталось диких рысей, Ян лично отправился за рысятами в Беловежскую пушу, а Антонина предложила держать их в доме. Когда летним вечером к главным воротам зоопарка подъехало такси, охранник бросился помогать Яну. Вместе они выгрузили небольшой деревянный ящик и перенесли его в дом, где Антонина уже была наготове с простерилизованными бутылочками, резиновыми сосками и подогретой молочной смесью. Как только подняли крышку, два крохотных меховых комочка в крапинку сердито уставились на людей, зашипели, принялись кусать и царапать руки, тянувшиеся к ним.

– Они боятся человеческих рук с таким количеством подвижных пальцев, – вполголоса пояснила Антонина. – И наших громких голосов, и резкого света лампы.

Рысята дрожали, «полумертвые от страха», как она записала в своем дневнике. Антонина аккуратно взяла за податливый и горячий шиворот одного, и, когда подняла с соломы, котенок повис безвольно и смиренно, затем взяла второго.

– Так им нравится. Их шкурка помнит, как мать сжимала ее зубами, перенося их с места на место.

Когда она опустила котят на пол посреди столовой, они заковыляли по паркету, несколько минут изучая новый скользкий ландшафт, после чего спрятались под шкаф, как под нависающую скалу, и забились в самый темный угол.

В 1932 году по польской католической традиции Антонина выбрала для своего новорожденного сына имя в честь святого – мальчика назвали Рышардом, а сокращенно – Рыщ или Рысь. Сын ее, хотя и не был членом зоопарковской команды «четвероногих, пушистых или крылатых», присоединился к семейству как еще один игривый детеныш, который лепетал и цеплялся за все, словно обезьянка, ползал на четвереньках, как медвежонок, становился темнее летом и светлее зимой, как волчонок. В одной ее детской книге описывается, как три домашних малыша учились ходить в одно и то же время: ее сын, львенок и шимпанзе. Считая всех детенышей восхитительными, от носорога до поссума, она царила над ними как мать млекопитающих и защитница многих прочих. Образ, вовсе не чуждый для города, древним символом которого была полуженщина, полужверь: русалка, сжимающая меч. Как говорила Антонина, зоопарк быстро стал ее «зеленым царством животных на правом берегу реки Вислы», шумным Эдемом между городом и парком.

Глава вторая

– Адольфа необходимо приструнить, – настаивал один из зрителей.

Ян знал, что тот имеет в виду не Гитлера, а Адольфа-Похитителя – такое прозвище дали жожаку макак-резусов, который развязал войну со старейшей самкой по кличке Марта: украв ее сына, Адольф отдал его своей подружке Нелли, у которой уже был один детеныш.

– Это неправильно. Каждая мать должна кормить своего ребенка, и почему нужно лишать Марту ее детеныша ради того, чтобы у Нелли было двое?

Другие зрители отчитывались о состоянии здоровья самых известных обитателей зоопарка, таких как жирафиха Роза, африканская охотничья собака Мэри, Саиб, жеребенок из живого уголка, который имел обыкновение тайком пробираться на пастбище к своенравным лошадям Пржевальского. У слонов время от времени появлялся герпес на хоботе, а в замкнутом сообществе какой-нибудь птичий ретровирус или болезни, наподобие туберкулеза, легко передаются от людей к попугаям, слонам, гепардам и другим зверям, снова возвращаясь от них к людям, – особенно в эпоху до антибиотиков, когда серьезные инфекции могли уничтожить целую популяцию как животных, так и людей. Поэтому Яну время от времени приходилось звать зоопарковского ветеринара, доктора Лопатынского, который всегда приезжал на трескучем мотоцикле, раскрасневшийся от ветра, облаченный в кожаную куртку и большой шлем с длинными хлопающими ушами, и в пенсне, водруженном на нос.

О чем еще они могли говорить на своих ежедневных летучках? На старой фотографии, сделанной в зоопарке, Ян стоит рядом с большим, наполовину выкопанным вольером для гиппопотама, который частично обнесен тяжелым деревянным брусом, похожим на корабельные шпангоуты. Судя по растительности на заднем плане, на дворе лето, а все землеройные работы должны быть завершены, пока почва не промерзнет. В Польше холода начинаются уже в октябре, так что, скорее всего, Ян постоянно требовал от подчиненных рапортов и досаждал прорабам. Еще одной причиной для беспокойства могло быть воровство^[1], и, поскольку торговля экзотическими животными процветала, днем и ночью в зоопарке дежурила вооруженная охрана.

О грандиозных планах по совершенствованию зоопарка говорится во многих книгах Яна и радиоэфирах: он надеялся, что однажды его зоопарк превратится в имитацию природной среды обитания, в которой естественные враги смогут делить территорию, не конфликтуя друг с другом. Ради этого миража райского перемирия необходимо иметь в своем распоряжении акры земли, разграничить их защитными рвами, проложить хитроумную водопроводную систему. В эпицентре варшавской жизни – социальной и культурной – Ян задумал новаторский зоопарк мирового значения, и в какой-то момент он даже полагал включить в зоопарк площадку с аттракционами.

Главная задача зоопарка, и античного, и современного, состоит в том, чтобы животные оставались здоровыми, физически и психически, ничего не опасались и, самое главное, были довольны своей жизнью. В любом зоопарке всегда найдутся какие-нибудь гениальные беглецы, длинноногие молнии, вроде антилоп-прыгунов, способные перемахнуть через человека и приземлиться на скалистый выступ размером с монетку. Сильные и коренастые, с выгнутой спиной, эти нервные маленькие антилопы весят всего сорок фунтов, при этом они весьма проворные и подпрыгивают на кончиках вертикально поставленных копыт, словно

балерины на пуантах. Стоит им испугаться, и они начинают метаться по загону, могут запрыгнуть на забор. Кроме того, как и все антилопы, они прыгают еще и от радости. Где-то писали, что в 1919 году один бирманец изобрел приспособление для таких прыжков – палку-скакалку^[2] – для своей дочери Пого, чтобы та могла перепрыгивать лужи по дороге в школу.

После того как ягуар едва не перемахнул через ров, окружающий вольер, в нынешнем Варшавском зоопарке, доктор Рембишевский установил там электрический забор вроде тех, которыми фермеры ограждают от оленей свои поля, только гораздо выше. Электрические заборы были и во времена Яна, который вполне мог прицениваться к ним и обсуждать их функциональность для вольеров больших кошек.

Каждый день после завтрака Антонина приходила в административное здание зоопарка и дожидалась особых посетителей, поскольку, помимо домашней работы и выхаживания заболевших животных, на ней лежала обязанность встречать важных гостей из Польши и из-за границы, общаться с прессой и государственными чиновниками. Проводя экскурсии для таких посетителей, Антонина развлекала их анекдотами и любопытными историями, почерпнутыми из книг, разговоров с Яном или же подсмотренными в жизни. Проходя по зоопарку, гости наблюдали разные ландшафты: болотистую местность, пустыню, лес, луга и степь. Некоторые участки находились в тени, другие купались в солнечном свете, в нужных местах были посажены деревья и кустарники, каменные глыбы защищали от пронзительных зимних ветров, способных сорвать крышу с амбара.

Антонина начинала экскурсию с главных ворот на Ратушовой улице, от которых тянулась длинная прямая аллея с вольерами по обеим сторонам, и первым привлекал внимание посетителей розовый пруд: бледные фламинго горделиво переставляли длинные ноги с красными коленками, выгнутыми назад^[3], а их клювы походили на черные кошельки для мелочи. Не такие яркие, как фламинго в дикой природе, которые приобретают розоватый цвет коралла, поедая мелких рачков, они все же были достаточно броскими, чтобы первыми принимать гостей сиплыми криками и гоготом. Сразу за фламинго начинались клетки с птицами: шумные, пестрые, с экзотическим оперением балийские скворцы, попугаи-ара, марабу, венценосные журавли; здесь же были и местные птицы, вроде воробьиного сычика или гигантского филина, способного унести в своих когтях кролика.

Павлины и мелкие парнокопытные бродили, где им заблагорассудится, скрываясь при приближении людей, как будто их смывало невидимой волной. На вершине небольшого травянистого холма грелась на солнышке мама-гепардиха, пока ее пятнистые котята резвились неподалеку, время от времени отвлекаясь на вольно проходящих мимо оленей и павлинов. Для львов, гиен, волков и остальных хищников в клетках эта фланирующая туда-сюда добыча была источником танталовых мук, но в то же время поддерживала природные инстинкты и нарушала привычное однообразие будней. Черные лебеди, пеликаны и другие болотные и водные птицы плавали в пруду, вырытом в форме змея. Слева, в открытых вольерах, находились зубры, антилопы, зебры, страусы, верблюды и носороги. Справа перед посетителями представляли тигры, львы и бегемоты. Далее, проходя по гравийной дорожке, гости замыкали круг, минуя жирафов, рептилий, слонов, обезьян, морских котиков и медведей. Виллу почти не было видно за деревьями, она находилась на расстоянии совиного уханья, долетавшего от птичьих вольеров, сразу перед клетками с шимпанзе, к востоку от пингвинов.

Из обитателей травянистых равнин были представлены африканские дикие собаки – легковозбудимые длинноногие псы, в любой момент готовые сорваться с места, мотая

широкими мордами, подозрительно приносясь и поводя большими жесткими ушами. Их научное название, *Canis pictus* (расписной волк), говорит об удивительном окрасе – шкура этих животных хаотично усеяна желтыми, черными и рыжими пятнами. Однако название умалчивает об их свирепости и выносливости: эти псы могут завалить стремительную зебру или многие мили преследовать антилопу. Варшавский зоопарк первым в Европе мог похвастаться столь ценными экземплярами, пусть даже африканские фермеры и считали их злостными вредителями. В живописной стае не было и двух особей одинакового окраса, и перед их вольером всегда собиралась толпа. Зоопарк был также первым обладателем зебр Греви, родом из Абиссинии, которые кажутся вполне знакомыми, пока не поймешь, что эти лошади заметно отличаются от хрестоматийных зебр: Греви более крупные; тонкие полосы, расположенные близко друг к другу, расчерчивают тело по вертикали, тогда как на ногах спускаются по горизонтали до самых копыт.

Была также Тузинка, все еще покрытая младенческим пушком, – двенадцатый слон в мире, родившийся в неволе. Отсюда и ее имя, от слова *тузин*, что значит по-польски «дюжина». Одним прохладным апрельским утром, в половине четвертого, Антонина сама принимала роды у Каси, мамы Тузинки. В своем дневнике она описала Тузинку как гигантский узел, как самого крупного детеныша, какого ей доводилось видеть, весом 242 фунта, ростом чуть более трех футов, с голубыми глазами и черными волосками, с громадными лепестками ушей. Хвост казался слишком длинным для этого неуверенно стоящего на ногах новорожденного слоненка, вдруг попавшего на кипящую ярмарку жизни. В голубых глазах Тузинки было то же изумление, какое Антонина наблюдала во взглядах других новорожденных животных, ошеломленных, удивленных, сбитых с толку всем этим светом и звоном.

Чтобы взять сосок, Тузинка, согнув в коленях задние ноги, вставала под мать и тянулась вверх мягкими губами. Выражение ее глаз означало, что в мире не существует ничего, кроме струи теплого молока и успокаивающего биения сердца ее матери. Такой она и запечатлена на фотографии 1937 года, на черно-белой почтовой открытке, сделавшейся популярным сувениром, как и тряпичная игрушка-слоненок. На старых фотографиях восторженные посетители тянутся к Тузинке и ее матери, которая, в свою очередь, протягивает им хобот через небольшой ров, окаймленный короткими металлическими штырями. Поскольку слоны не умеют прыгать, траншея в шесть футов глубиной и шесть футов шириной наверху, сужающаяся книзу, является для них непреодолимым препятствием, если только слон не заполнит ров грязью и не перейдет его вброд – такие случаи тоже известны.

Из звериных запахов складывалась обонятельная картина зоопарка – некоторые были слабыми, от других поначалу едва не тошнило. В особенности это касалось запаха, сообщавшего о близости гиен, которые выворачивают свой анальный мешок, размазывая зловонную субстанцию, известную под названием «масло гиены». Каждая вонючая метка держится не меньше месяца, передавая новости сородичам, и взрослый самец оставляет до ста пятидесяти таких меток в год. Гиппопотам также устраивает веселенькое представление, вертя во время дефекации маленьким хвостиком и расшвыривая навоз во все стороны. Самцы мускусного быка имеют обыкновение обрызгивать себя собственной мочой, а дыхание морских львов, между зубами у которых остается гниющая пища, ощущается за метр. Какапо, нелетающий совиный попугай, в черную крапинку, с поразительными белыми глазами и желтым клювом, пахнет как старый футляр для кларнета. Во время гона самцы слонов выделяют обладающий мощным сладким запахом секрет из маленьких желез возле

глаз. Оперение большой конюги пахнет мандарином, в особенности во время брачного сезона, когда занятые ухаживанием птицы засовывают друг другу клювы в особые перья на шее. Все животные шифруют информацию в виде запахов так же явственно, как и криком, и через какое-то время Антонина привыкла к густому аромату их повестки дня: биологические угрозы, ухаживания и сводки новостей.

Антонина пришла к убеждению, что как люди чувствуют необходимость поддерживать связь со своей животной сущностью, так и животные «желают человеческого общества, тянутся за человеческим вниманием». Ее воображаемые переходы в Umwelt^[4] животных на какое-то время заставляли забыть о сообществе людей, о мире, полном вражды и оружия, мире, в котором внезапно исчезают родители. Играя с рысятами в охотника и добычу, кормя их с рук, позволяя лизать свои пальцы теплым и жестким, как наждак, языкам, уступая настойчиво мясущим лапам, отчего нейтральная полоса между домашним и диким становилась все прозрачней, она связала себя с зоопарком узами, которые сама называла «вечными».

Кроме того, зоопарк предоставлял Антонине кафедру для проповеди, возможность быть чуть ли не пастырем, нести благую весть на берега Вислы, подобно малому божеству, и она предлагала посетителям уникальный мост в природу. Но сначала им требовалось перейти по мосту, похожему на клетку, через реку и оказаться в звериной вотчине. Когда она рассказывала гостям захватывающие истории о рысях и других зверях, обширное и размытое зеленое пятно земли мгновенно собиралось в фокус, как одиночное лицо или мотив, как нечто, имеющее имя. Антонина и Ян поощряли режиссеров снимать фильмы, устраивать музыкальные и театральные представления прямо в зоопарке и, если те просили, одалживали животных в качестве актеров – особой популярностью пользовались львята. «Наш зоопарк был полон жизни, – писала Антонина. – К нам приходило много народу: молодежь, любители животных и просто посетители. У нас было множество партнеров: университеты Польши и других стран, департамент здравоохранения Польши, даже Академия изящных искусств». Местные художники рисовали для зоопарка афиши в стиле ар-деко, и чета Жабинских приглашала художников любых направлений приходить в зоопарк, чтобы дать волю своему воображению.

Глава третья

Однажды во время велосипедного объезда зоопарка Ян оставил лося Адама пастись на лужайке среди кустов, а сам вошел в птичий павильон, благоухавший влажным сеном и пометом. Там, вплотную к клетке, стояла маленькая женщина, она двигала локтями, изображая птицу, которая чистит перья и прихорашивается. У нее были темные волнистые волосы, компактная фигура, из-под юбки торчали тонкие ноги – она сама вполне походила на обитательницу этого вольера. Над головой у нее раскачивался на трапедии попугай, кося на нее одним глазом и выкрикивая: «Как тебя зовут? Как тебя зовут?» И женщина отвечала ему мелодичным голосом: «Как тебя зовут? Как тебя зовут?» Попугай свесился ниже и посмотрел внимательнее, затем развернул голову и уставился на нее другим глазом.

– Добрый день, – сказал Ян.

Дзень добры. Так поляки заводят вежливую беседу. Женщина представилась Магдаленой Гросс. Это имя Ян прекрасно знал – работы скульптора Гросс заказывали и зажиточные поляки, и заграничные поклонники ее творчества. Он не знал, что она делает скульптуры животных, но до того дня она и сама не знала об этом. Позже она рассказывала Антонине, как сильно была очарована зоопарком в свой первый приход, руки сами начали мять воздух, поэтому она решила прихватить нужные инструменты и отправиться на сафари, и судьба завела ее в вольер к этим птицам, обтекаемым, словно футуристические поезда. Ян по польской традиции поцеловал ей руку и сказал, что она окажет ему честь, если будет считать зоопарк своей студией на пленэре, а животных – своими неумимыми моделями.

По всеобщему признанию, высокая и стройная, светловолосая Антонина походила на отдыхающую валькирию, тогда как низенькая и темная еврейка Магдалена просто излучала энергию. Антонина считала Магдалену выигрышным набором противоречий: настойчивая, но ранимая, смелая, но застенчивая, эксцентричная, но чрезвычайно дисциплинированная – человек, обожающий жизнь, что, наверное, импонировало Антонине больше всего, ведь она сама не была такой серьезной и суровой, как Ян. Обе женщины пылали страстью к живописи и музыке, у них было схожее чувство юмора, они были почти ровесницами, и у них обнаружили общие друзья – так было положено начало тому, что стало крепкой дружбой. Что подавала на стол Антонина, когда Магдалена приходила на чай? Большинство варшавянок угощают гостей черным чаем со сладостями, а Антонина выращивала розы и делала из них много заготовок, поэтому время от времени, должно быть, готовила традиционную польскую выпечку – нежные пончики с начинкой из розового варенья, покрытые апельсиновой глазурью, которая пахнет дымком.

Магдалена признавалась, что чувствовала себя творчески абсолютно опустошенной, пока случайно не забрела в зоопарк и не увидела перед собой ошеломительную стаю важно вышагивавших фламинго. Далее обнаружили и вовсе диковинные звери, каких не увидишь и во сне, – сказочного вида и таких оттенков, какие художнику не подобрать. Зрелище поразило ее всей мощью откровения и вдохновило на серию скульптур животных, получивших позже международное признание.

К лету 1939 года зоопарк выглядел великолепно, и Антонина принялась строить подробные планы на будущую весну, когда их с Яном ждала почетная миссия встречать у себя в Варшаве участников ежегодного съезда Международной ассоциации директоров зоопарков.

Однако это означало, что необходимо отринуть подалеже разные страхи, самым большим из которых было сомнение: *если наш мир сохранится*. Почти годом раньше, в сентябре 1938-го, Гитлер, с молчаливого согласия Франции и Британии, захватил Судетскую область, часть Чехословакии, граничившую с Германией и населенную в основном немцами, и поляки беспокоились о собственных границах. Германские территории, которые немцы уступили Польше в 1918–1922 годах, включали восточную часть Силезии и полосу земли, раньше именовавшуюся Польским коридором, который благополучно отделил Восточную Пруссию от остальной Германии. Важный для Германии балтийский порт Гданьск был объявлен «вольным городом», открытым и для немцев, и для поляков.

Спустя месяц после вторжения в Чехословакию Гитлер потребовал возвращения Гданьска и права строительства экстерриториальных железных и шоссейных дорог через Польский коридор. Дипломатические споры в начале 1939 года в марте привели к конфликту, и Гитлер отдал своим генералам тайный приказ «разобраться с польским вопросом». Отношения между Польшей и Германией постепенно обострялись, и поляки видели приметы войны – это пугало, но неожиданностью не было. Со времен Средневековья Германия оккупировала Польшу так часто, и самый последний раз в 1915–1918 годах, что лозунг «славяне против тевтонцев» стал уже патриотической традицией. Стратегическое положение Польши в Восточной Европе было ее проклятием: страну завоевывали, разоряли и разделяли неоднократно, ее границы то сжимались, то расширялись, в некоторых городках детям приходилось учить по пять языков, только чтобы общаться с соседями. Антонине вовсе не хотелось думать о войне, особенно после того, как в последней она потеряла обоих родителей, потому, как и большинство поляков, она убеждала себя, что альянс с Францией, у которой мощная армия, надежен, и Британия клятвенно обещала свою защиту. Оптимистка от природы, Антонина сосредоточилась на своей счастливой жизни. В конце концов, в 1939 году очень немногие польские женщины могли благодарить Бога за удачный брак, здорового сына, успешную карьеру, не говоря уже о роскоши общения с животными, которых она считала своими приемными детьми. Чувствуя Божье благословение и душевный подъем, в начале августа Антонина повезла Рыся, его престарелую няньку и сенбернариху Зоську в деревню Реентувку, популярное дачное место, а Ян остался в Варшаве присматривать за зоопарком. Антонина решила взять с собой еще и Коко, пожилую самку розового какаду, которая страдала от головокружений и часто падала со своей жердочки. Поскольку у Коко имелась неприятная привычка выдирать перья у себя на груди, Антонина надела на нее металлический ошейник, похожий по форме на конический рупор, в надежде, что «свежий лесной воздух, возможность поесть дикие корешки и веточки» смогут исцелить от болезни и вернуть прежнее яркое оперение. Рысята к этому времени уже подросли и остались дома, но она везла с собой новое приобретение, детеныша барсука по кличке Барсуня, который был слишком мал, чтобы оставлять его без опеки. Но больше всего ей хотелось увезти Рыся подалеже от Варшавы с этими бесконечными разговорами о войне на последние – и для нее, и для сына – летние каникулы, полные беззаботных игр на свежем воздухе.

Загородный дом Жабинских^[5] стоял в поросшей лесом низине в четырех милях от широкой долины Буга и всего в пяти минутах ходьбы от одной из впадающих в него речушек. Антонина с Рысем приехали в жаркий летний день, когда в воздухе стоял запах хвои, накатывали волны аромата от цветущих акаций и петуний, предвечерние солнечные лучи высвечивали верхушки старых деревьев и мгла уже пала на лесные низины, где пронзительное пение цикад смешивалось с нисходящими секвенциями кукушек и нытьем

голодных комариных самок.

Вскоре на одной из маленьких веранд она смогла погрузиться в тень душистых виноградных лоз, чьи «мелкие, едва различимые цветочки источают аромат нежнее, чем роза, чем сирень и жасмин, чем самый сладкий из всех цветков – луговой золотистый люпин», а рядом, «всего в нескольких шагах по высокой траве возвышалась над тобой... стена леса, молодая зелень дубов, с белыми штрихами берез тут и там...». Они с Рысем утонули в зеленом спокойствии на расстоянии многих световых лет от Варшавы – громадном, бесконечном, личном расстоянии, которое измеряется не только в милях. В домике не было даже радио, и природа была источником всех новостей, игр и уроков, а одним из популярных местных развлечений было пойти в лес и считать осины.

Каждое лето дом дожидался их со своими тарелками, кастрюлями, корытом, простынями и огромным запасом сухих продуктов, а они обеспечивали ему встречу с компанией людей и зверей, превращавших его из бунгало в бурлеск. После того как большую птичью клетку поставили на веранду и накормили какаду кусочками апельсина, Рысь надел на барсука ошейник и попытался убедить его прогуляться на поводке. Барсук был не против, только гулял на свой манер, стремительно волоча Рыся за собой. Как и остальные животные в их окружении, Барсуня обожал Антонину, которая называла его своим воспитанником, учила приходить, когда зовут по имени, купаться вместе с ними в реке и забираться к ней на кровать за молоком из бутылочки. Барсуня научился скрестись в дверь, чтобы его выпустили в туалет, он совсем по-человечьи мылся, сидя в корыте и плеща мыльную воду себе на грудь передними лапами. В своем дневнике Антонина отмечала, как инстинкты Барсуни соединяются с человеческими привычками под знаком его собственной неповторимой индивидуальности. Он, к примеру, неукоснительно соблюдал правила гигиены, выкопав под каждой стеной дома по ямке для туалета, и галопом несясь домой с длительной прогулки только для того, чтобы воспользоваться «удобствами». Как-то раз, пытаясь отыскать Барсуню, Антонина проверила все его излюбленные места для дневного сна: ящик в комод, собственную постель между простыней и покрывалом, чемодан няни Рыся – все безрезультатно. В комнате Рыся она заглянула под кровать, после чего наблюдала, как Барсуня вытащил оттуда на середину комнаты детский горшок, забрался в белую эмалированную посудину и использовал ее по назначению.

Ближе к концу летних каникул заехали друзья Рыся, Марек и Збышек (сыновья доктора, который жил на другой стороне Пражского парка); они возвращались с Хельской косы на Балтийском море и наперебой рассказывали о том, сколько кораблей стоит в бухте Гдыни, о копченой рыбе и прогулках под парусом, обо всех переменах в порту. Сидя в тускло освещенной гостиной, пока ночь растекалась вокруг, и слушая, как мальчики на крыльце говорят о своих летних приключениях, Антонина поняла, что Балтийское море для Рыся, который видел его три года назад, вероятно, сохранилось всего лишь как смутное воспоминание, состоящее из разбивающихся о берег волн и остекленевшего от полуденной жары песка.

– Ты не представляешь, как перекопали пляж! В следующем году там не будет и следа гражданских, – сказал Марек.

– Это почему? – спросил Рысь.

– Потому что строят укрепления на случай войны!

Старший брат пристально посмотрел на него, и Марек, обняв Рыся за плечи, снисходительно добавил:

– Да кому какое дело до пляжа? Лучше расскажи о Барсуне.

И Рысь, сначала немного смущаясь, но постепенно воодушевляясь все больше, стал рассказывать о лесных пиратах и выходках Барсуни и закончил историей о том, как однажды ночью Барсуня опрокинул ведро ледяной воды на спавшую гостью, к которой забрался в постель, – и мальчишки так и покатались со смеху.

«Как приятно слышать их смех, – думала Антонина, – а о войне у Рыся пока весьма смутное представление, хотя он часто повторяет это слово. Слова вроде „торпеды“ и „укрепления“ он связывает только с игрушками, с красивыми корабликами, которые запускает в бухты, окружающие песчаные крепости, что он строит на берегу речки. Есть еще любимая игра в ковбоев и индейцев, когда он стреляет из лука сосновыми шишками... слава богу, другой, настоящей, войны он еще не понимает».

Старшие мальчики считали, как и сама Антонина, что война является принадлежностью мира взрослых, а не детей. Она чувствовала, что Рысь сгорает от желания засыпать их вопросами, однако ему не хотелось показаться глупым или, еще хуже, маленьким, поэтому он не обронил ни слова о той невидимой ручной гранате, что лежала у его ног, взрыва которой все так опасались.

«Эта тема не для невинных детей», – размышляла Антонина, глядя на бронзовые от загара лица трех мальчиков, сиявшие в свете большой масляной лампы. Беспokoясь за их судьбу, она снова и снова спрашивала себя: «Что с ними будет, если начнется война?» Это был тот вопрос, от которого она бежала, который отодвигала от себя и неизменно к нему возвращалась на протяжении месяцев. «Наша республика зверей существует в самом светлом и шумном городе Польши, словно маленькое анонимное государство, находящееся под защитой столицы, – признавалась себе Антонина. – Мы живем словно на острове, отрезанном от остального мира, и кажется невероятным, чтобы волны зла, растекшегося по Европе, могли захлестнуть и этот островок». Когда тьма начала заполнять все вокруг, стирая границы, Антонину охватила неудержимая тревога: как бы ни хотелось немедленно залатать дыры на расползавшейся материи жизни ее сына, ей оставалось лишь ждать и смотреть, как они множатся.

Чтобы продлить последнюю летнюю идиллию, как-то утром она собрала бригаду для похода за грибами, учредив призы и почетные звания для тех, кто больше всех найдет рыжиков, боровиков, а также шампиньонов, которые она собиралась закатать в банки. Если война и вправду разразится, то, положив зимой на хлеб маринованный грибок, каждый вспомнит загородный дом, купание в реке, проделки Барсуни и совсем другие деньки. Они прошли четыре мили до Буга, время от времени неся Рыся на закорках, Зоська топала рядом, а Барсуня ехал в рюкзаке. По пути они останавливались на лугу, устраивали пикник и играли в футбол, поставив на ворота Барсуню и Зоську, хотя Барсуня ни за что не хотел отдавать кожаный мяч после того, как ему удавалось вцепиться в него зубами и когтями.

На выходные Антонина обычно оставляла Рыся с нянькой в загородном доме и возвращалась в Варшаву, чтобы немного побыть с Яном. 24 августа 1939 года, в четверг, в тот самый день, когда Британия подтвердила, что окажет Польше поддержку в случае вторжения Германии, Антонина, как всегда, отправилась в Варшаву и была неприятно поражена, увидев по всему городу нацеленные в небо зенитки, горожан, копавших окопы и возводивших баррикады, и, что тревожило более всего, плакаты, сообщавшие о скорой мобилизации. Всего лишь днем раньше Молотов и Риббентроп, министры иностранных дел, ошеломили мир, объявив, что Германия и Советский Союз подписали пакт о ненападении.

«Единственное, что отделяет Берлин от Москвы, – это Польша», – размышляла Антонина.

Ни она, ни Ян не знали, что к пакту прилагается секретный дополнительный протокол, уже разделивший Польшу и обрекший ее на двойное вторжение и отъем столь соблазнительных плодородных земель.

«Дипломаты правды не скажут. Возможно, все это просто блеф», – думала Антонина.

Ян знал, что у Польши нет самолетов, оружия и военного снаряжения, сравнимых с немецкими, поэтому они всерьез заговорили о том, чтобы отправить Рыся куда-нибудь в более безопасное место, в какой-нибудь не представляющий военного интереса городок, если таковой существует.

Антонина чувствовала себя так, словно «очнулась от долгого сна или же погрузилась в кошмар», – в любом случае это было душевное потрясение. Вдали от варшавской политической трескотни, отгородившись от мира «спокойной, размеренной сельской жизнью, где царила гармония белых песчаных дюн и плакучих ив» и каждый день был оживлен играми смешных животных и маленького мальчика, ей почти удавалось игнорировать происходившие в мире события или по меньшей мере сохранять оптимизм, если не сказать – упертую наивность.

Глава четвертая

Варшава, 1 сентября 1939 года

Перед самым рассветом Антонина проснулась от далекого треска гравия, который катился по металлическому желобу, – ее мозг довольно быстро определил в этом звуке гул самолетов. «Пусть это будут учения польской авиации», – взмолилась она, выходя на террасу и вглядываясь в странное, лишенное солнца небо, подернутое дымкой, растянувшейся вдоль всего горизонта, от края и до края. Такой дымки Антонина никогда прежде не видела – не облака, а густая, золотисто-белая, сияющая завеса, низко стелившаяся над землей, не дым и не туман. Ветеран Первой мировой войны и офицер запаса, Ян провел ночь на дежурстве, но она не знала, где именно, знала только, что «где-то за пределами зоопарка», в каньонах города за мысленным рвом Вислы.

Она слышала «гудение самолетов, десятков, может, даже сотен», которое походило на «звук далекого морского прибоя, не спокойного, а такого, когда волны разбиваются о берег во время шторма». Послушав еще мгновение, она различила характерный неровный свист немецких бомб – позже, когда война шла полным ходом, лондонцы клялись, что эти бомбы при падении рычали: «Где вы там? Где вы там? Где вы там?»

Ян вернулся домой в восемь утра сильно взволнованный и смог рассказать лишь отрывочные новости. «Это вовсе не учебные маневры, о которых нам говорили, – сказал он. – Это бомбардировщики, эскадрильи люфтваффе, которые сопровождают наступающую немецкую армию. Надо уезжать немедленно». Поскольку Рысь с нянькой был в безопасной Реентувке, они решили для начала отправиться в деревню поближе к городу, в Залесье, где жили кузены Яна, но прежде дождаться свежих новостей по радио.

Тот день был первым учебным днем для польских школьников, когда все тротуары обычно запружены детьми в школьной форме, с ранцами за плечами. Со своей террасы они повсюду видели теперь лишь польских солдат – на улицах, на газонах, даже в зоопарке, – которые поднимали заградительные аэростаты, нацеливали зенитки, складывали в кучи длинные черные снаряды, суженные с одного конца и похожие на помет какого-то животного.

Зоопарковские животные, кажется, не ощущали опасности. Небольшие вспышки их не пугали – за много лет они привыкли к виду костров, – однако их все больше нервировал поток солдат, поскольку ранним утром они обычно видели лишь дюжину зрителей в синей униформе, разносивших еду. Рыси принялись издавать нечто среднее между рычанием и мяуканьем, леопарды утробно ворчали, шимпанзе хныкали, медведи ревели по-ослиному, а ягуар перхал, как будто пытаясь вытолкнуть что-то застрявшее в глотке.

К девяти утра они узнали, что Гитлер, желая оправдать вторжение, устроил фальшивую атаку на немецкий приграничный город Гляйвиц, где эсэсовцы, переодетые в польскую военную форму, захватили местную радиостанцию и передали в эфир ложный призыв к нападению на Германию. Хотя иностранным корреспондентам, привезенным на место, чтобы они засвидетельствовали случившееся, предъявили в качестве доказательства польской агрессии мертвые тела узников концлагерей (одетых в польскую форму), никто из них не купился на уловку. И все же даже инсценировка не могла остаться без ответа, поэтому

в четыре утра германский военный корабль «Шлезвиг-Гольштейн» разбомбил склад боеприпасов под Гданьском, и советская армия начала готовить вторжение с востока.

Антонина с Яном спешно собрались и пошли пешком через мост, в надежде добраться до Залесья на другой стороне Вислы, всего в дюжине миль на юго-восток. Когда они дошли до площади Збавичела, гул моторов сделался громче, после чего над головой проплыли самолеты, появившись в просвете между крышами домов, словно на стереооткрытке. Бомбы со свистом понеслись к земле и упали впереди, через несколько кварталов, повалил черный дым, с грохотом посыпалась лепнина и черепица, куски кирпича и пласты шпукатурки.

Каждая бомба порождает свой запах в зависимости от того, куда попадает, что именно обращает в прах; и нос улавливает запах взорванного, когда молекулы смешиваются с воздухом и разносятся в стороны. Тогда можно ощутить десять тысяч различных запахов – от огурцов до скрипичного лака. Когда бомба попала в булочную, взлетевшая туча пыли пахла дрожжами, яйцами, патокой и ржаной мукой. Смешанный запах клевера, уксуса и горящего мяса валил от мясной лавки. Запах обугленной плоти и сосны означал, что зажигательная бомба вызвала мгновенный и сильный пожар и что люди внутри дома умерли быстро.

– Нам придется вернуться, – сказал Ян, и они побежали мимо стен Старого города и по свистящему металлическому мосту.

Снова оказавшись в зоопарке, Антонина написала: «Я была настолько подавлена, что не могла ничего делать. Я была в состоянии только слушать голос Яна, который отдавал указания работникам: „Приведите лошадей с телегой, нагрузите едой и углем, соберите теплую одежду, отправляйтесь немедленно...“»

Для Яна задача отыскать городок, не представляющий военного интереса, оказалась уравнием, полным неизвестных, к чему он не был готов, поскольку ни он, ни Антонина не ожидали, что Германия нападет на Польшу. Они тревожились, но соглашались, что это «пустые страшилки»: период трудный, но уж никак не обещание скорой войны. Антонина недоумевала, как же они могли так ошибаться, а Ян сосредоточился на поиске какого-нибудь безопасного места для семьи, решив, что сам останется в зоопарке, будет до последнего заниматься животными и ждать предписаний.

– Варшаву скоро закроют, – рассуждал он, – а немецкая армия движется с востока, поэтому мне кажется, тебе лучше всего вернуться в наш дом в Реентувке.

Она обдумала его слова и затем решила, отринув дурные предчувствия:

– Да, по крайней мере, это знакомое место, и у Рыся оно ассоциируется с хорошими временами.

На самом деле она понятия не имела, так ли это, однако упрямо продолжала сборы, полагаясь на интуицию Яна, затем забралась в телегу, нагруженную вещами, необходимыми для долгого отсутствия, и спешно выехала, пока на дорогах было еще не слишком многолюдно.

Курортная деревня Реентувка находилась всего в двадцати пяти милях от города, однако Антонина и возница провели в пути семь часов, двигаясь по грязной дороге с тысячами других людей, которые в основном шли пешком, потому что машины, легковые и грузовые, и почти все лошади были конфискованы на нужды армии. Женщины, дети, старики спешно покидали город, словно загипнотизированные страхом, взяв с собой то, что могли унести. Некоторые толкали перед собой детские коляски, тачки и ручные тележки, кто-то тащил чемоданы и нес на руках маленьких детей, большинство шли в нескольких слоях одежды, с

рюкзакками, вещмешками, с обувью, перекинутой через плечо или болтавшейся на шее на связанных шнурках.

Вдоль дороги росли высокие тополя, сосны и ели, на ветвях которых топорщились огромные шары омелы, в гнездах на вершинах телеграфных столбов стояли черно-белые аисты, которые все еще набирались сил перед трудным перелетом в Африку. Скоро по обеим сторонам дороги появились лоскуты фермерских полей, на них блестели колосья зерновых, устремив к небу усики. «Пот струился ручьями, дыхание застревало в горле, потому что воздух был тяжелым от пыли», – писала Антонина.

Далекое ворчание грома сменилось жужжанием тучи комаров на горизонте, затем за считанные секунды эти комары разрослись до немецких самолетов, смявших небосвод, – они проносились над самой головой, вселяя панику в людей и лошадей. Под градом пуль сквозь тучи взметнувшейся пыли все бросились врассыпную: те, кому не повезло, упали, те, кому повезло чуть больше, выскочили из-под брызг пулеметного огня. Дорога была усыпана мертвыми аистами, дроздами, грачами, сломанными ветками и брошенными сумками. Получить пулю было проще простого, и Антонина семь часов испытывала судьбу, а перед глазами стояли врезавшиеся в память сцены с мертвыми и умирающими^[6].

По крайней мере, ее сын в Реентувке был избавлен от подобного зрелища, которое так трудно забыть, в особенности маленькому ребенку, чей разум без устали исследует мир, учится тому, чего ждать, и сохраняет эту правду, закрепляя ее в памяти триллионом стежков. «Будь готов жить в таком мире до конца своих дней, – говорит ребенку его разум, – в мире кровавой бойни и неуверенности». «То, что не убивает нас, делает нас сильнее», – писал Ницше в «Сумерках идолов» (1888), как будто волю можно закалить, как самурайский меч, который раскаляют и бьют молотком, гнут и перековывают, пока он не станет несокрушимым. Однако когда в качестве металла выступает маленький мальчик, что будет с ним от удара? К тревогам Антонины за сына примешивался праведный гнев на немцев «в этой современной войне, настолько отличной от войн, какие мы знали, в которой дозволено убивать женщин, детей и мирных жителей».

Когда пыль улеглась, проступило голубое небо, и она увидела, как два польских истребителя атакуют над полем тяжелый немецкий бомбардировщик. Издалека картина выглядела едва ли не по-домашнему, как будто яростные выюрки прогоняют сокола, и люди радовались каждый раз, когда истребителям удавалось выбить из бомбардировщика клуб дыма. Ведь такие маневренные самолеты наверняка могут дать отпор люфтваффе? В догорающем солнечном свете вспыхнули золотые нити, и внезапно бомбардировщик выпустил сноп кроваво-красных искр и, заложив крутой вираж, рухнул на землю. После чего над верхушками сосен распустилась белая медуза: немецкий пилот заболтался под куполом парашюта, медленно спускаясь на фоне василькового неба.

Как и многие поляки, Антонина не сознавала масштабов опасности, полагаясь на польские воздушные силы, которые похвалялись своими превосходно обученными и замечательно храбрыми летчиками (в особенности из авиационной бригады, оборонявшей Варшаву). Однако они уступали по численности, а устаревшие одномоторные истребители PZL P.11 никак не могли сравниться с германскими быстрыми, маневренными «юнкерсами» Ю-87 «Штука». Польские бомбардировщики «Караси» летали над немецкими танками так низко и медленно, что становились легкой мишенью для немецких зениток. Антонина не знала, что Германия испытывает новый способ ведения войны комбинированными силами, который называется «блицкриг» (молниеносная война) и заключается в использовании всех

возможных средств при наступлении – танков, самолетов, кавалерии, артиллерии, пехоты, – чтобы захватить врага врасплох и внушить ему ужас.

Когда Антонина наконец добралась до Реентувки, перед ней предстал призрачный город: летние дачники разъехались, магазинчики закрылись до следующего сезона, даже почта была заперта. Измученная, перепуганная, грязная, она направилась к дому, тускло освещенному и окруженному высокими деревьями, и все здесь пахло так знакомо и безопасно, смесью глинистой почвы, луговых трав и диких цветов, гниющей древесины и сосновой смолы. Можно представить, как крепко обнимала она Рыся, как здоровалась с его няней, как они ужинали гречневой кашей, супом и картошкой, как она разбирала вещи, мылась, тосковала по привычной рутине еще одного лета, не в силах совладать с нервами или унять дурные предчувствия.

В последовавшие затем дни они часто стояли на крыльце, наблюдая за волнами немецких эскадрилий, идущих на Варшаву, – небо темнело от их рядов, ровных, словно шпалеры. Эта регулярность обескураживала Антонину: каждый день самолеты появлялись около пяти утра, а потом еще раз – после заката, и она понятия не имела, кого именно они бомбили.

Местный пейзаж тоже выглядел странно, поскольку до сих пор они не бывали в Реентувке осенью, когда нет ни отдыхающих, ни животных. Высокие липы начали наливать бронзой, дубы полыхали ржавчиной, похожей на запекшуюся кровь, только клены кое-где сохраняли зелень, и по вечерам желтогрудые дубоносы клевали их окрыленные семена. Кусты сумаха пушистого вздымали вдоль песчаных дорог похожие на олени рога бархатистые ветки и конусообразные метелки красных плодов. Голубой цикорий, коричневая тимофеевка, белая ночная фиалка, розовый чертополох, золотистая ястребинка и золотарник рисовали на лугах картину осени, изменяющуюся каждый раз, когда ветер пригибал стебли, словно рука, которая проводит по ворсу плюшевого ковра.

Пятого сентября приехал поездом Ян, лицо его было безрадостно, он нашел Антонину «сильно подавленной и растерянной».

– До меня дошли слухи, что часть германской армии, идущая со стороны Восточной Пруссии, скоро будет в Реентувке, – сказал он Антонине. – Но до Варшавы фронт пока не докатился, и народ постепенно привыкает к авианалетам. Наша армия должна защитить столицу любой ценой, так что мы вполне можем вернуться домой.

Пусть голос его звучал не вполне уверенно, Антонина согласилась с ним, потому что Ян был отличный стратег, и интуиция его обычно не подводила, и еще потому, что сама понимала, насколько легче им будет, если они останутся вместе, поддерживая друг друга, разделяя тревоги и страхи. Было решено возвращаться в Варшаву, но только по железной дороге.

Ночью они погрузились в медленный поезд с затемненными окнами и приехали в город в предрассветный час, когда солнце еще не разлилось по горизонту, в час затишья между ночным и утренним авианалетом. По воспоминаниям Антонины, на станции их ждала повозка с лошадьми, и они поехали домой, замороженные обыденным: безветренное спокойствие, влажный воздух, клумбы с астрами, разноцветные листья, скрипучие колеса, копыта, цокающие по мостовой. На короткое мгновение они, как по волшебству, провалились в довоенное прошлое, погрузились в изначальную безмятежность – война казалась чем-то далеким и нереальным, всего лишь отраженным светом, как у луны.

У главных ворот варшавской Праги, только сойдя на землю, Антонина снова вернулась в

реальность, словно разбуженная набатом. Бомбы разворотили асфальт, снаряды выбили большие куски из деревянных строений, колеса пушек перепахали газоны, старые ивы и липы стояли, свесив поломанные конечности. Антонина крепко прижимала к себе Рыся, словно разор вокруг был заразным. К несчастью, зоопарк находился у самой реки, рядом с мостами – первоочередной целью немцев, – и, поскольку тут же был размещен польский батальон, это место было главной мишенью немцев на протяжении нескольких дней. Обходя завалы, они добрались до виллы и изрытого воронками сада. Взгляд Антонины упал на цветочные клумбы, истоптанные конскими копытами, и ей особенно запомнились маленькие и нежные чашечки цветков, вбитые в землю и «похожие на разноцветные слезы».

С восходом, вслед за прибывающим светом, разгорелось сражение. Стоя на переднем крыльце, они с удивлением прислушивались к гулкому эху хриплых взрывов и металлическому шелканью. Вдруг земля задрожала и заходила под ногами, они поспешили в дом, но оказалось, что там трясется все: потолочные балки, полы и стены. Из большого кошачьего вольера неслись стоны львов и рыки тигров, и она знала, что там матери-кошки, «обезумев от страха, хватают своих котят за шиворот и мечутся по клеткам, в тревоге высматривая безопасное место, где можно их спрятать». Слоны бешено трубили, испуганный хохот гиен больше походил на рыдания, которые прерывались икотой, африканские собаки выли, а макаки-резусы, на грани безумия, дрались друг с другом, оглашая окрестности истерическими визгами. Несмотря на суматоху, работники продолжали разносить животным воду и пищу и следили, чтобы засовы были надежно заперты.

В тот налет люфтваффе полутонная бомба разрушила скалу в вольере белых медведей, разнесла стены, ров и ограждения, и перепуганные звери оказались на свободе. Когда взвод польских солдат увидел окровавленных медведей, мечущихся в панике у своего прежнего жилища, их быстро расстреляли. И поскольку испуганные львы, тигры и другие опасные животные тоже могли вырваться на свободу, было принято решение убить самых агрессивных, в том числе и слона Яся, отца Тузинки.

Стоя на переднем крыльце, Антонина прекрасно видела площадку у колодца, где собрались солдаты, которых обступили работники зоопарка, – некоторые из них плакали, другие стояли угрюмые и молчаливые.

«Сколько животных уже убито?» – спрашивала она себя.

Стремительный ход событий не оставлял времени на протест или скорбь, выжившие животные нуждались в помощи, поэтому они с Яном стали вместе со зрителями по мере сил кормить, лечить и успокаивать зверей как только могли.

«Люди, по крайней мере, могут уложить все самое необходимое и куда-то уйти, что-нибудь придумать, – размышляла Антонина. – А если Германия оккупирует Польшу, что станет с такой уязвимой формой жизни, как наш зоопарк?... Животные в зоопарке в куда худшем положении, чем мы, – сокрушалась она, – потому что совершенно во всем зависят от нас. Перевезти зоопарк в другое место невыносимо, слишком сложный это организм». Даже если война вдруг закончится быстро, последствия будут тяжелыми, говорила она себе. Где они возьмут корм и деньги, чтобы поддерживать зоопарк на плаву? Стараясь не думать о худшем, они с Яном тем не менее закупали дополнительные запасы сена, овса, сушеных фруктов, муки, сухарей, угля и дров.

Седьмого сентября в парадную дверь постучал польский офицер и зачитал приказ о том, что все годные к военной службе мужчины – в число которых входил и сорокадвухлетний Ян – мобилизуются и отправляются на Северо-Западный фронт, а всем гражданским лицам

предписано немедленно покинуть зоопарк. Антонина быстро собралась и снова перешла с Рысем на другой берег, на этот раз, чтобы поселиться у золовки в западной части города, в квартире номер три на четвертом этаже дома по Капуцинской улице.

Глава пятая

Ночью в маленькой квартирке на Капуцинской улице она услышала новый звук: кузнечные удары германской артиллерии. А где-то женщины ее возраста ходили в ночные клубы и танцевали под музыку Гленна Миллера, под зажигательные мелодии вроде таких, как «Нитка жемчуга» и «Маленький коричневый кувшин». Некоторые танцевали в придорожных ресторанах под новейшее изобретение – музыкальный автомат^[7]. Супружеские пары нанимали детям няnek и отправлялись в кино смотреть новинки 1939 года: «Ниночку» с Гретой Гарбо, «Волшебника страны Оз» с Джуди Гарленд, «Правила игры» режиссера Жана Ренуара. Семьи выезжали за город, чтобы любоваться опавшими листьями, есть на праздниках урожая яблочные пироги и кукурузные лепешки. У многих же поляков жизнь обратилась в вязкий ил на дне водоема, из которого выпарилась вода. За время оккупации каждый оказался заключен в реальность, где значение имело лишь самое необходимое, и чтобы его добыть, требовались почти вся энергия человека, его время, деньги и мысли.

Как и другие матери в животном мире, Антонина отчаянно пыталась найти место для своего детеныша, но в отличие от них, писала она в своем дневнике, «я не могла взять Рыся за шиворот зубами и перенести в безопасное место». Не могла она и оставаться в квартире золовки на четвертом этаже: «Что, если здание рухнет и мы не сможем выбраться?» Наверное, будет лучше, решила она, поселиться внизу, в маленьком магазинчике с абажурами, – и это если удастся уговорить хозяев.

Собрав все необходимое, Антонина спустилась с Рысем на четыре пролета темной лестницы и постучала в дверь, которую открыли две старушки, пани Цадерская и пани Стоковская.

– Входите, входите.

Они глянули на лестничную клетку у нее за спиной и быстро заперли дверь.

Странный новый континент, наполовину коралловый риф, наполовину планетарий, предстал перед ней, когда она вошла в заваленный товарами магазинчик, полный запахов ткани, клея, красок, пота и готовившейся овсянки. С потолка свисали абажуры, громоздились друг на друга, образуя зиккураты, или сбивались в кучи, как экзотические бумажные змеи. На деревянных полках лежали похожие на штрудели рулоны тканей, медные каркасы для абажуров, различные инструменты, шурупы и заклепки, блестящие декоративные наверхия, разобранные по типу материала: стекло, пластмасса, дерево, металл. В те времена в подобных магазинчиках женщины вручную шили новые матерчатые абажуры, чинили старые, иногда продавали абажуры, сделанные другими.

Пока взгляд Антонины бродил по комнате, она, вероятно, замечала детали, характерные для эпохи тридцатых годов, времени, когда балтийский декор отошел от викторианской моды в сторону ар-деко и модерна, затронув и абажуры. Тут были и тюльпанообразные из розового шелка, украшенные парчой с рисунком из хризантем; зеленые шифоновые с кружевными вставками из белого атласа; гофрированные, цвета слоновой кости и правильной геометрической формы; ярко-желтые в форме наполеоновской треуголки; восьмигранные из перфорированного металла с гранеными фальшивыми камнями, вставленными по периметру; гипсовые, увенчанные слюдой темно-янтарного цвета шары, на которых была изображена охота лучников на оленя в духе ар-нуво; купола из оранжево-красного стекла, пупырчатого, как гусиная кожа, обрамленные хрустальными подвесками, под которыми

висела бронзовая гондола, декорированная узором из плюща. Это модное красное стекло, известное под названием gorge-de-pigeon^[8], которое во времена Антонины часто использовали для изготовления винных бокалов, в тени приобретало вишневый оттенок, а на свету начинало играть алым цветом свежeproлитой крови. Оно и было окрашено в цвет голубиной крови – эликсира, с помощью которого некогда определяли качество рубинов (лучшие камни похожи по цвету на горячую кровь).

Рысь указал ей на дальний угол комнаты, и она с удивлением увидела, что там, за изгородью из абажуров, сидят растрепанные женщины и дети из соседних домов.

– Дзень добры, дзень добры, – приветствовала Антонина по очереди каждую женщину.

Уютная атмосфера магазина с абажурами притягивала бездомных и замерзших к этой лавочке, которой владели две старушки, готовые делиться своими припасами, углем и крышей над головой. Антонина отмечала:

«Этот магазин и мастерская были настоящим магнитом для многих людей. Благодаря этим крохотным милым старушкам, которые были чрезвычайно добросердечны, полны любви и доброты, мы выжили в то ужасное время. Они были словно теплый свет летней ночью, и люди с верхних этажей, бездомные из других мест, из разрушенных домов, даже с других улиц, собирались тут, словно бабочки, привлеченные теплотой, исходившей от двух этих женщин».

Антонину восхищало, как их морщинистые руки протягивают еду (в основном овсянку), сласти, альбом с почтовыми открытками и настольные игры. Каждую ночь, когда люди выбирали себе места для ночлега, она ложилась на матрас рядом с массивным дверным проемом, закрывая Рыся своим телом, и, словно в колодезь, проваливалась в чуткий сон, и уплывающее прошлое казалось все более идиллическим. У нее было столько планов на следующий год, а теперь она не знала, переживут ли они с Рысем эту ночь, увидит ли она еще Яна, сможет ли сын отпраздновать очередной день рождения. «Каждый день нашей жизни был полон мыслей о кошмарном настоящем и даже о собственной смерти, – писала она в мемуарах и добавляла: – наших союзников здесь не было, они не помогали нам; мы, поляки, остались совсем одни, [в то время как] одна только атака англичан на немцев могла бы остановить постоянные бомбардировки Варшавы... До нас доходили крайне неутешительные новости о польском правительстве – наш маршал Смиглы и члены правительства бежали в Румынию, где были схвачены и арестованы. Мы ощущали себя преданными, мы были потрясены, мы были охвачены горем».

Когда Британия и Франция объявили войну Германии, поляки радовались, по радио несколько дней подряд транслировали французский и английский гимны, однако и в середине сентября не наступило облегчения от нескончаемых бомбардировок и обстрелов тяжелой артиллерии. «Живем в осажденном городе», – писала в дневнике Антонина. А город был полон свистящих бомб, взрывов, сотрясающих землю, сухого грохота падающих зданий и голодных людей. Сначала исчезли такие привычные удобства, как вода и газ, затем радио и газеты. Те, кто еще осмеливался высунуться на улицу, передвигались бегом, люди, рискуя жизнью, стояли в очередях за маленьким кусочком конины или хлеба. Три недели она слышала, как днем шелестят над крышами снаряды, а в ночной темноте сотрясают стены бомбы. Леденящий душу свист предшествовал самым чудовищным взрывам, и Антонина ловила себя на том, что дослушивает каждый свист до конца, опасаясь худшего, и переводит

дыхание, лишь услышав, что взрыв унес жизнь кого-то другого. Она легко научилась определять расстояние до взрыва и испытывала облегчение от того, что мишенью стала не она, а затем, почти сразу, раздавался новый свист, новый взрыв.

В редких случаях когда она отваживалась выйти на улицу, то оказывалась в какой-то киношной войне, с желтым дымом, с пирамидами из мусора, зазубренными утесами на месте домов, с листками писем, которые гонял ветер, и аптечными пузырьками, с ранеными людьми и мертвыми лошадьми, у которых под неестественным углом были вывернуты ноги. Но самым нереальным было другое: над головой висело нечто похожее на снежные хлопья, но только они не падали, как снег, а плавно поднимались и опускались, не ложась на землю. Более зловещее, чем снежная буря, над домами мягко колыхалось престранное облако из перьев, выпущенных из подушек и перин горожан. Однажды, очень давно, один польский король прогнал наступавших турок, приказав солдатам привязать к спине большие обручи с перьями. И когда воины галопом понеслись в атаку, ветер завыл ураганом в их фальшивых крыльях, пугая вражеских лошадей, которые стали рыть копытами землю, отказываясь двигаться вперед. Наверное, варшавская перьевая буря вызывала в воображении многих поляков картину бойни, в которой пали те рыцари, ангелы-хранители города.

Однажды боевой снаряд попал в их дом и застрял в потолке четвертого этажа; Антонина ждала взрыва, но его так и не последовало. В ту же ночь, пока бомбы чертили на небе дымные линии, она увела Рыся в подвал ближайшей церкви. Затем, «в сдавленной тишине утра», снова привела Рыся в магазин абажуров. «Я прямо как львица из нашего зоопарка, – сказала она остальным, – от страха таскаю своего котенка из одного угла клетки в другой».

От Яна не было никаких вестей, и от беспокойства она почти не спала, однако говорила себе, что подведет его, если не спасет оставшихся зоопарковских животных. Живы ли они вообще, спрашивала она себя, и смогут ли мальчики-подростки, оставшиеся в зоопарке, как следует ухаживать за ними? Выбора, похоже, не было: хотя ей было дурно от страха, она оставила Рыся с золовкой и заставила себя перейти реку под градом пуль и снарядов. «Вот так чувствует себя зверь, на которого идет охота, – думала Антонина, оказавшись посреди побоища, – вовсе ничего героического, одно лишь безумное желание добраться до безопасной норы любой ценой». Она помнила смерть Яся и больших кошек, расстрелянных в упор польскими солдатами. Стоявшие перед глазами сцены их последних мгновений терзали ее, но еще больше терзал навязчивый страх, от которого было трудно избавиться: а что, если им повезло?

Глава шестая

Нацистские бомбардировщики совершили 1150 налетов на Варшаву, разрушив зоопарк, рядом с которым случайно оказались зенитные орудия. В тот ясный день небо разверзлось, и на землю обрушился свистящий огонь, клетки разлетелись, рвы выплеснулись, железные прутья с треском лопнули. Деревянные строения развалились и сгорели. Осколки стекла и металла без разбора калечили шкуры, перья, копыта и чешую; металась раненые зебры в кровавую полосу, перепуганные обезьяны-ревуны и орангутаны с воплями неслись к деревьям и кустам, змеи выскользнули на свободу, даже крокодилы разбежались кто куда. Пули распороли птичьи домики, попугаи по спирали возносились вверх, словно ацтекские боги, и тут же падали вниз, прочие тропические птицы прятались в кустарнике и деревьях или пытались улететь на опаленных крыльях. Некоторых животных, укрывшихся в своих клетках и водоемах, захлестнули волны огня. Два жирафа с переломанными ногами лежали мертвыми на земле. В сгустившемся воздухе было больно дышать, воняло горелой древесиной, соломой и жженой плотью. Обезьянки и птицы, испуская inferнальные крики, устроили дикий хор, поддержанный трескучими литаврами пуль и уханьем бомб. Раскатываясь эхом по всему зоопарку, этот грохот, без сомнения, звучал так, словно десять тысяч фурий рвутся из ада, чтобы уничтожить мир.

Антонина и горстка зрителей металась по территории, пытаясь спасти одних животных и освободить других, в то же время стараясь не попасть под осколки. Перебегая от одной клетки к другой, она с тревогой продолжала думать о муже, который сражался на фронте: «Храбрый человек, человек с совестью; если даже невинные животные в опасности, на что надеяться ему?» А когда Ян вернется, что он увидит? И где Кася, слониха-мать, наша любимица? В конце концов Антонина добралась до вольера Каси и обнаружила, что его сровняли с землей, а слонихи в нем нет (как выяснит Антонина потом, еще раньше ее убило снарядом), зато она услышала, как вдалеке трубят двухлетняя малышка Тузинка. Многие обезьяны погибли при пожаре в павильоне или были застрелены, оставшиеся дико визжали, носясь по кустам и деревьям.

Каким-то чудом некоторые животные выжили в зоопарке, какие-то перебежали по мосту и оказались в Старом городе горящей столицы. Горожане, отважившиеся подойти к окну или, к несчастью, оказавшиеся на улице, наблюдали библейскую фантазмагорию, когда зоопарк вырвался на улицы Варшавы. Морские котики ковыляли по берегам Вислы, верблюды и ламы бродили по переулкам, цокая копытами и поскальзываясь на бульжной мостовой, страусы и антилопы бежали рядом с лисами и волками, муравьеды с громкими криками носились по кирпичным завалам. Перед глазами местных жителей мелькали пушные звери, пронесившиеся мимо фабрик и жилых домов; они устремлялись к полям за городом, засеянными овсом, гречихой и льном, забирались в ручьи, прятались на лестничных клетках и в сараях. Погрузившись в водоемы, уцелели гиппопотамы, выдры и бобры. Каким-то образом спаслись и медведи, зубры, лошади Пржевальского, верблюды, зебры, рыси, павлины и другие птицы, обезьяны и рептилии.

Антонина писала, как встретила недалеко от виллы молодого солдата и спросила: «Вы не видели здесь крупного барсука?» Он ответил: «Какой-то барсук долго колотил и царапал дверь виллы, но его не пустили, и он спрятался в кустах».

«Бедный Барсуня», – сокрушалась она, представляя, как испуганный любимец семьи

просит его впустить. «Надеюсь, ему удалось убежать», – успела она подумать, а в следующий миг вернулась к реальности огня и дыма, ноги сами понесли ее к загону жесткогривых монгольских лошадей. Другие лошади и ослы – среди них и пони ее сына Фигляж (Озорник) – лежали мертвыми на улицах, но редкие лошади Пржевальского, дрожа, бродили по своему пастбищу.

Наконец Антонина вышла из зоопарка, прошла через Пражский парк между рядами лип, освещенных огнем пожара, и отправилась обратно в магазин с абажурами, где они с сыном нашли прибежище. Измученная и опустошенная, она попробовала описать дымовой плюмаж, вывороченные деревья и траву, залитые кровью дома и тела животных. Позже, немного успокоившись, Антонина пошла к каменному дому на Медовой улице, поднялась по лестнице в маленькую контору, полную взволнованных людей и заваленную стопками документов, – один из тайных штабов Сопротивления, – где встретила старого друга Адама Энглерта.

– Новости есть?

– По-видимому, у нашей армии кончились боеприпасы и продовольствие, обсуждается вопрос официальной капитуляции, – холодно ответил он.

В мемуарах она написала, что слышала его голос, но слова куда-то уплывали: словно ее разум, придавленный дневными ужасами, объявил «non serviam»^[9] и отказался воспринимать что-то еще.

Тяжело осев в кресле, она как будто приклеилась к месту. До этого мгновения Антонина не позволяла себе думать, что ее страна действительно может потерять независимость. Снова. Да, что такое оккупация, как и дальнейшее изгнание врага, Антонина уже знала, но прошел двадцать один год со времени последней войны с Германией, большая часть ее жизни, и эта новая перспектива потрясла Антонину. Десять лет зоопарк был словно независимое княжество, защищенное рвом Вислы, и его повседневная жизнь, эта мозаика-загадка, идеально гармонировала с чувствительной натурой Антонины.

Вернувшись в магазин с абажурами, она рассказала всем печальные новости, услышанные от Энглерта, которые шли вразрез с оптимистичными выступлениями по радио польского мэра Старжинского. Тот поносил нацистов, давал надежду и призывал всех защищать столицу любой ценой: «Пока я говорю с вами сейчас, я вижу ее в окно во всем ее величии и славе, окутанную дымом, объятую пламенем: величественную, непобедимую, сражающуюся Варшаву!»^[10]

Озадаченные, они задавались вопросом, кому верить: мэру с его публичной речью или членам Сопротивления? Конечно же, последним. В очередном выступлении Старжинский в какой-то момент употребил прошедшее время: «Я хотел, чтобы Варшава была великим городом. Я верил, что она станет великой. Мы с товарищами строили планы и делали наброски великой Варшавы будущего». В свете высказывания Старжинского (может быть, это была оговорка?) новость Антонины прозвучала особенно правдоподобно, и все сидели подавленные, пока хозяйки медленно ходили между столами, зажигая маленькие лампы.

Несколько дней спустя после падения Варшавы Антонина сидела за столом вместе с остальными, голодная, но не в силах проглотить ни кусочка из-за подавленного состояния, когда услышала решительный стук в дверь. В гости теперь никто не ходил, никто не покупал лампы, не чинил сломанные абажуры. Встревоженные хозяйки приоткрыли дверь, и Антонина, к своему изумлению, увидела Яна, который показался ей изможденным, но радостным. Последовали объятия и поцелуи, затем он сел за стол и рассказал свою историю.

После того как Ян с друзьями вечером 7 сентября ушел из Варшавы, они двинулись вдоль реки к Бресту-над-Бугом – часть призрачной армии в поисках хоть какого-нибудь формирования, к которому можно было присоединиться. Никого не найдя, они наконец разделились, и 25 сентября Ян заночевал в Мьене, на ферме, с хозяевами которой был знаком по совместному летнему отдыху в Реентувке. На следующее утро хозяйка разбудила его с просьбой перевести ее слова немецкому офицеру, который приехал ночью. Любая встреча с нацистами была опасна, и Ян, одеваясь, старался подготовиться к неприятностям и продумывал приемлемые объяснения. Напустив на себя уверенный вид законного постояльца, он спустился по лестнице и взглянул на офицера вермахта, который стоял посреди гостиной, разговаривая с хозяевами о провизии. Когда нацист повернулся к нему лицом, Ян не поверил своим глазам и подумал, уж не примерещилось ли ему от волнения. Но лицо офицера в то же мгновение вспыхнуло от изумления, и он заулыбался. Это оказался доктор Мюллер, коллега по Международной ассоциации директоров зоопарков, который служил директором зоопарка в Крулевецце (город в Восточной Пруссии, известный перед войной как Кёнигсберг).

Засмеявшись, Мюллер сказал:

– Я хорошо знаком только с одним поляком, с вами, друг мой, и вот я встречаю вас здесь! Как такое возможно?

Интендант Мюллер явился на ферму в поисках провизии для войск. Когда он рассказал Яну о катастрофе, постигшей Варшаву и зоопарк, Ян немеленно захотел вернуться в город, и Мюллер предложил свою помощь, однако предупредил, что мужчинам возраста Яна на дорогах опасно. Самый лучший план, предложил он, арестовать Яна и отвезти его в Варшаву как пленника. Несмотря на их прежние сердечные отношения, Ян не знал, можно ли довериться Мюллеру. Но Мюллер, верный своему слову, вернулся на ферму, когда Варшава сдалась, и привез Яна в город, доставив настолько близко к центру, насколько осмелился. Надеясь встретиться в более счастливые времена, они распрощались, и Ян отправился в путь среди руин города, не зная, доберется ли до Капуцинской улицы, найдет ли Антонину и Рыся – если они вообще еще живы. Наконец он дошел до четырехэтажного дома, и когда на свой стук не получил ответа, то, по его признанию, ноги у него едва не подкосились от ужаса.

В последовавшие затем дни зловещая тишина Варшавы стала настолько невыносимой, что Ян с Антониной решились перейти по мосту в зоопарк – на этот раз не под градом пуль и снарядов. Несколько старых зрителей тоже вернулись и приступили к своим обычным обязанностям, словно отряд привидений, работающий в наполовину истребленной деревне, где дом привратника и жилые помещения обратились в обугленные развалины, мастерские, слоновник, целые вольеры и загоны тоже сгорели или разрушились. Больше всего в глаза бросались прутья клеток, которые расплавились и приобрели странные формы, напоминавшие творения сварщиков-авангардистов. Ян с Антониной прошли к вилле и были поражены картиной, которая показалась еще более сюрреалистичной. Хотя дом уцелел, высокие окна вылетели от бомбовых ударов, и мельчайшие осколки стекла усыпали все, словно песок, смешавшись с измятой соломой в тех местах, где польские солдаты спасались от авианалетов. Все нуждалось в ремонте, особенно окна, и, поскольку большие стекла теперь стали редкостью, они решили пока что забить их фанерой, хотя это и означало еще сильнее отгородиться от мира.

Однако прежде всего они занялись поисками раненых животных, прочесывая

территорию, заглядывая в самые немислимые укрытия, – и каждый раз их охватывала радость, когда обнаруживалось какое-нибудь животное, застрявшее под завалом, испуганное, голодное, но живое. По воспоминаниям Антонины, множество армейских лошадей лежали со вспученными животами, оскаленными зубами, с остекленевшими глазами, широко раскрытыми от испуга. Все трупы нужно было похоронить или же использовать в пищу – мясо антилоп, оленей и лошадей раздавали голодным горожанам. Для Яна и Антонины эта работа была невыносимой, поэтому они оставили ее зрителям, а сами, измученные и подавленные, вернулись ночевать на Капуцинскую улицу, поскольку вилла все равно была непригодна для жилья.

На следующий день по радио выступил генерал Роммель, убеждая солдат и горожан с достоинством принять поражение и сохранять спокойствие, пока германская армия будет входить в их павший город. Он завершил свое выступление словами: «Я надеюсь, что население Варшавы, которое храбро защищало город, проявив великий патриотизм, воспримет приход германских войск спокойно и с достоинством»^[11].

«Может быть, это хорошая новость, – говорила себе Антонина, – может быть, это наконец означает мир и возможность начать восстановление».

После дождливого утра плотная пелена облаков разошлась, и теплое октябрьское солнце осветило немецких солдат, которые патрулировали все окрестные кварталы, наполняя улицы грохотом тяжелых подметок и звуками чужой речи. Затем в магазин с абажурами просочились другие голоса, с шипящими согласными и более понятные, – это была толпа поляков, мужчин и женщин. Антонина увидела «единый огромный организм, медленно движущийся» к центру города, и из домов вытекали ручейки людей, чтобы влиться в общий поток.

– Куда, как ты думаешь, они направляются?

По радио сообщили, что Гитлер собирается устроить смотр своих войск, и их с Яном тоже потянуло на улицу как магнитом. Куда Антонина ни бросала взгляд, всюду была разруха. В беглых заметках она описывала «здания, обезглавленные войной, – снесенные крыши валялись уродливыми горами где-то неподалеку. Другие здания смотрели тоскливо, ободранные бомбами от крыши до подвала». Они напоминали «людей, которые стесняются своих ранений, ищут, чем бы прикрыть дыры, зияющие в животе».

Затем Антонина с Яном прошли мимо напитанных дождем домов, лишившихся штукатурки, с выставленными напоказ красными кирпичами, от которых шел пар под теплым солнцем. Пожары до сих пор пылали, внутренности домов до сих пор дымились, и в воздухе стояло столько гари, что слезились глаза и першило в горле. Слово за гипнотизированная толпа плыла к центру города; на архивных кадрах можно увидеть, как эти люди стоят вдоль главных улиц, по которым нескончаемым ровным потоком маршируют завоеватели, немецкие солдаты в мундирах цвета ружейного металла, и их шаги отдаются звучным эхом, словно удары кнута по дереву.

Ян повернулся к Антонине, которая, казалось, сейчас упадет.

– Не могу дышать, – сказала она. – У меня такое чувство, будто я тону в сером море, как будто они затопили собой весь город, смывая наше прошлое и людей, стирая все с лица земли.

Стиснутые в толпе, они смотрели, как проплывают мимо блестящие танки и ряды ружей, а также румяные солдаты – некоторые из них глядели так вызывающе, что Яну пришлось отвернуться. Театр марионеток, столь популярный в Польше, был предназначен не

только для детей; в кукольных постановках часто затрагивались сатирические и политические темы, как в Древнем Риме. Судя по старым фильмам, жители оккупированной Варшавы могли воспринимать с иронией это представление: гром духового оркестра возвещает о появлении блестящей кавалерии и важно марширующих батальонов, а Гитлер стоит на возвышении на заднем плане и наблюдает за своими войсками, вскинув одну руку, словно кукловод, дергающий за невидимые ниточки.

Представители главных политических партий Польши в это время уже собрались в хранилище сберегательного банка, решая, как усилить подполье, деятельность которого сразу же началась с неудачи: взрывчатка, заложенная под возвышение для Гитлера, должна была разорвать его в клочья, но в последнюю минуту какой-то германский чин переставил подрывника на другое место, и тот не смог запалить фитиль.

Под немцами жизнь в городе почти остановилась, банки закрылись, зарплаты не выплачивались. Антонина с Яном снова переехали на виллу, однако без денег и припасов они были вынуждены выискивать еду, оставшуюся от квартировавших здесь польских солдат. Новой германской колонией управлял личный юрист Гитлера Ганс Франк, недавний член нацистской партии, высокопоставленный правовед, занимавшийся пересмотром немецких законов в соответствии с нацистской идеологией, в особенности тех, что касались расовой чистоты и были нацелены против Сопротивления. В первый же месяц своего правления генерал-губернатор Франк объявил, что любой еврей, покинувший предписанное ему место жительства, будет убит, так же как и люди, сознательно предложившие такому еврею убежище. Зачинщики и помощники подвергнутся такому же наказанию, как и исполнители, попытка преступления будет наказываться так же, как и совершенное преступление.

Вскоре после этого он выпустил «Указ о предотвращении насильственных действий», который грозил смертью любому, кто не подчинится новой власти, планирует акты саботажа или умышленного поджога, имеет ружье или иное оружие, проявляет враждебность по отношению к немцам, не соблюдает комендантский час, не сдал радиоприемник, торгует на черном рынке, держит дома листовки подполья или же не донесет на злоумышленника, который причастен к вышеперечисленному. Нарушать закон или не доносить о том, кто нарушает закон, действовать или видеть, как действует кто-то другой, считалось одинаковым преступлением. Человеческая природа такова, что большинство не хочет ни во что вмешиваться, поэтому доносили мало, еще меньше доносили за недоносительство... из чего быстро сплелась абсурдная цепочка нежелания действовать и бездействия. Где-то между действием и бездействием совесть каждого находила успокоение: большинство поляков не рисковали своими жизнями ради беглецов, однако и не доносили на них.

Гитлер уполномочил Франка «безжалостно эксплуатировать этот регион как военную зону и страну-трофей, превратить в кучу мусора ее экономику, общество, культуру и политические структуры»^[12]. Одной из ключевых задач Франка было уничтожение людей, обладавших влиянием: учителей, священников, землевладельцев, политиков, юристов и людей искусства. Затем он начал перераспределять огромные массы населения: за пять лет 860 000 поляков должны были сняться с места и переселиться; 75 000 немцев должны были занять их земли; 1 300 000 поляков предполагалось угнать в Германию и превратить в рабов; 330 000 надлежало попросту расстрелять^[13].

Польское Сопротивление действовало храбро и изобретательно, его члены саботировали поставки германской техники и боеприпасов, пускали под откос поезда, взрывали мосты, издавали газеты, вели радиотрансляции, преподавали в подпольных институтах и колледжах

(которые посещало около ста тысяч студентов), помогали прятаться евреям, добывали оружие, делали бомбы, уничтожали агентов гестапо, спасали заключенных, тайно ставили пьесы, печатали книги, организовывали акты гражданского неповиновения, держали собственные суды и посылали курьеров к базировавшемуся в Лондоне польскому эмигрантскому правительству. Армия крайова, военное крыло Сопротивления, на пике своей деятельности включала 380 тысяч солдат, и в их числе был Ян Жабинский, который впоследствии рассказывал в интервью, что с самого начала был связан с Армией крайовой через зоопарк^[14]. Существовая нелегально, польское государство, объединенное не столько территорией, сколько языком, оказывало непрерывное сопротивление нацистскому режиму в течение шести лет.

Сила подполья заключалась в особой стратегии: никаких прямых контактов нижестоящих с вышестоящими и обязательное использование псевдонимов и шифров. Если никто не знает командира, в случае ареста никто не подвергнет опасности ядро, и если никому не известны настоящие имена, диверсантов будет очень трудно найти. Штаб-квартиры подполья блуждали по всему городу, школы переезжали из одной церкви или квартиры в другую, а отряд курьеров и нелегальные типографии держали всех в курсе событий. Крестьянское подпольное движение действовало по принципу «как можно меньше, хуже и позже», саботируя поставки продовольствия немцам, отправляя снабженческие группы по измененным маршрутам к горожанам, многократно отчитываясь о доставках одного и того же груза зерна или скота, завышая все показатели, непостижимым образом теряя, уничтожая или скрывая провизию. Силой загнанные в секретные лаборатории Пенемюнде, где шли разработки в области ракетного оружия массового поражения, работники мочились на электронные схемы, чтобы вызвать коррозию, и приводили ракеты в негодность. Сопротивление охватывало столько сфер, что каждый мог отыскать в нем свою нишу, независимо от возраста, образования и силы духа. Яна тянуло на рискованные дела, как он позже рассказывал репортерам, риск щекотал ему нервы, добавлял жизни огня, отчего эта опасная игра воспринималась скорее «как партия в шахматы – либо я выиграю, либо проиграю».

Глава седьмая

С приходом осени холод начал просачиваться под двери виллы и в многочисленные щели, по ночам осипший ветер метался над плоской крышей, хлопал покоробившимися фанерными ставнями, свистел за стенами террасы. Несмотря на разрушенные строения и изрытые воронками газоны, зоопарк устроил на зимовку немногих оставшихся животных, хотя все делалось совсем не так, как до войны, и особенно сильно нарушилось сезонное расписание зоопарковской жизни. Ритм дней обычно резко менялся, когда зоопарк вступал в собственный период спячки: аллеи, как правило запруженные народом – ведь за лето по ним проходило до десяти тысяч человек, – становились почти пустынными; лишь отдельные посетители заходили в Обезьяний дом, слоновник, на остров хищников или в бассейн морских котиков. От длинных колонн школьников, выстроенных в ожидании своей очереди кататься на ламах, пони, верблюдах или на маленьких педальных машинках, не оставалось и следа. Животные, требующие особой заботы, вроде фламинго и пеликанов, днем отваживались лишь на короткий променад, осторожно ступая всей стаей по замерзшему пруду. По мере того как дни укорачивались, а ветки деревьев оголялись, большинство животных перебиралось в теплые вольеры, а характерные для зоопарка пронзительные крики сменялись приглушенным бормотанием, – это время в торговле называют *мертвым сезоном*: когда животные отдыхают, а люди занимаются ремонтом.

Оскудевший в военное время зоопарк продолжал действовать как сложный живой механизм, в котором один разболтавшийся шуруп или растянутый привод мог стать причиной катастрофы, и директор зоопарка не мог оставить без внимания ни ржавый болт, ни простуженную обезьянку, не мог забыть запереть вольер или не утеплить его, не заметить спутанной бороды у зубра. А во время шторма, дождя или мороза ко всему этому относились еще более серьезно.

Как теперь не хватало всех этих женщин, которые обычно сгребали палые листья, мужчин, которые утепляли соломой крыши и стены конюшен, садовников, укрывавших на зиму розы и декоративные кусты. Остальные помощники в синей униформе закладывали в погреба свеклу, лук и морковь, ворошили вилами силос, чтобы у зимующих животных было много *витаминов* (слово, придуманное в 1912 году польским биохимиком Казимиром Функом). Амбары обычно были набиты сеном под самую крышу, кладовые и чуланы ломались от овса, муки, гречки, подсолнечника, тыкв, муравьиных яиц и прочих жизненно необходимых припасов. Грузовики подвозили уголь и кокс, слесари чинили сломанные инструменты, плели проволоку и смазывали замки. В столярной мастерской занимались ремонтом заборов, столов, скамеек и полок, мастерили двери и оконные рамы для новых зданий, которые появятся весной, когда почва оттает.

Антонина и Ян в этот период обычно занимались бюджетом на следующий год, дожидаясь прибытия новых животных, и готовили бухгалтерские отчеты для городской администрации, которая находилась в здании с видом на реку и строения Старого города с островерхими крышами. Информационный отдел устраивал интервью и концерты, в лабораториях научные работники проводили опыты.

Мертвый сезон всегда был непростым временем, тем не менее он давал возможность уйти в закрытый, защищенный мир, с хорошо набитыми кладовыми, четким распределением припасов и верой в собственные силы. Война уничтожила все это.

– Разбитый город старается накормить своих животных, – обрадовала Яна Антонина однажды утром, услышав стук копыт, а затем и увидев два фургона, которые въехали в ворота, нагруженных остатками фруктов и овощей, какие удалось выгрести из кухонь ресторанов и домов. – По крайней мере, мы не одиноки.

– Да. Варшавяне знают, как важно сохранить индивидуальность, – отвечал Ян, – все те составляющие жизни, которые возвышают и облагораживают личность, и зоопарк, по счастью, входит в их число.

Почва ушла из-под ног Антонины, когда она узнала, что оккупационное правительство решило перевести столицу в Краков, подчеркнув, что Варшава, как город областной, больше не нуждается в зоопарке. Все, что ей оставалось, писала Антонина, это дожидаться *ликвидации*; это мерзкое слово подразумевало исчезновение существ, которые для их семьи были индивидуумами, а не просто общей массой шкур, крыльев и копыт.

На вилле остались только Антонина, Ян и Рысь, почти без еды, которую было невозможно достать ни за какие деньги, почти без денег и без работы. Антонина каждый день сама пекла хлеб, полагаясь лишь на овощи со своего огорода и заготовки из тушек грачей и ворон, а также грибов и ягод. Друзья и родственники из окрестных деревушек время от времени присылали продукты, порой даже бекон и сливочное масло – невиданная роскошь для опустошенного города, кроме того, человек, который до войны поставлял в зоопарк корм для лошадей, теперь иногда привозил им немного мяса.

Однажды, в конце сентября, перед их парадной дверью появился знакомый в немецкой форме, старый охранник из Берлинского зоопарка.

– Меня направил к вам лично директор Лутц Гек, чтобы передать вам привет и сообщение, – произнес он официальным тоном. – Он хочет предложить вам свою помощь и ждет ответа.

Антонина и Ян удивленно переглянулись, не зная, что на это отвечать. Они были знакомы с Лутцем Геком по ежегодным встречам в Международной ассоциации директоров зоопарков, маленькой группы альтруистов, прагматиков, проповедников и прохвостов. В начале двадцатого века существовало две основных концепции, как содержать в неволе экзотических животных. Одни считали, что необходимо создавать естественные условия, воспроизводить ландшафт и климат, родной для каждой особи. Ревностными сторонниками этого подхода были профессор Людвиг Гек из Берлинского зоопарка и его старший сын Лутц Гек. Противоположная точка зрения заключалась в том, что экзотические животные, предоставленные сами себе, адаптируются к новым условиям независимо от того, где расположен зоопарк. Во главе этого противоборствующего лагеря стоял младший сын профессора Гека, Хайнц, директор Мюнхенского зоопарка^[15]. Находясь под влиянием Геков, Варшавский зоопарк помогал животным акклиматизироваться и в то же время обеспечивал условия содержания, близкие к естественным. Это был первый в Польше зоопарк, где животные не ютились в тесных клетках, – наоборот, Ян старался приспособить каждый вольер под животное, по возможности во всей полноте воссоздавая условия жизни в дикой природе. Зоопарк также мог похвастаться хорошим запасом природной воды (из артезианских скважин), сложной дренажной системой и обученным и преданным персоналом.

На ежегодных встречах два подхода периодически сталкивались, тем не менее все великолепно справлялись с содержанием своих зоопарков, у всех были одни и те же заботы и страсти, и потому, несмотря на языковые барьеры, побеждало интуитивное желание

сохранить мир и поделиться мудростью. Кроме Яна, никто из директоров не говорил по-польски, Ян не очень хорошо владел немецким, Антонина говорила по-польски, немного по-русски, по-французски и по-немецки. В итоге родился некий вид эсперанто^[16] (польское изобретение), основанный главным образом на немецком и английском, подкрепленный фотографиями, собственными рисунками, имитацией голосов животных и пантомимой. Ежегодные собрания проходили как дружеские встречи, и, будучи женой самого молодого директора зоопарка, Антонина очаровывала всех своим умом и миловидностью, Яна же считали энергичным и преданным своему делу директором, зоопарк которого процветал и мог похвастать молодняком у редких зверей.

Гек всегда относился к Жабинским очень тепло, в особенности к Антонине. Однако, и возглавляя зоопарк, и теперь, уйдя в политику, он был одержим идеей хорошей крови, в том числе арийской. До них доходили слухи, что он сделался убежденным и влиятельным нацистом и его компаньоны по охоте, а также частые гости в его доме – рейхсмаршал Герман Геринг и министр пропаганды Йозеф Геббельс.

– Мы признательны профессору Геку за его предложение, – вежливо ответила Антонина. – Пожалуйста, поблагодарите его и передайте, что в помощи мы не нуждаемся, поскольку зоопарк подлежит *ликвидации*.

Она прекрасно знала, что, будучи чиновным зоологом в правительстве Гитлера, Гек, скорее всего, и есть тот самый человек, который отдал приказ о ликвидации.

На следующий день, к их удивлению, охранник вернулся и сказал, что Гек скоро навестит их, и, когда охранник ушел, они стали совещаться, как им быть. Они не доверяли Геку, но, с другой стороны, он был любезен с Антониной, к тому же, теоретически, их коллега, любитель животных, он должен посочувствовать им в сложившейся ситуации. В оккупированной стране, где выживание зачастую зависит от наличия высокопоставленных друзей, пообхаживать Гека было нелишним. Антонина подумала, что Геку польстит мысль сделаться ее покровителем, средневековым рыцарем вроде Парсифаля, неким романтическим идеалом, который завоеует ее сердце и выкажет собственное благородство. Пока она гадала, в помощь ли его приезд или во вред, ей вспоминались кое-какие кошачьи повадки. Мы прекрасно понимали, вспоминала она, что он может просто играть с нами. Большим кошкам, чтобы развлечься, нужны маленькие мышки.

Яну, впрочем, казалось вполне вероятным, что Гек хотел им помочь: сам директор зоопарка, любит животных, всю свою жизнь защищал их, он, несомненно, сочувствует потерям своего коллеги, другого директора. И потому ночь накануне первого визита Гека прошла для них между надеждой и страхом.

После наступления комендантского часа поляки больше не гуляли под звездным небом. Они по-прежнему могли наблюдать из своих окон и с балконов августовские Персеиды, за которыми следовал осенний дождь Драконид, Орионид и Леонид, однако из-за снарядов и пыли дни стояли в основном облачные, с мутными закатами и предрассветной моросью. Как ни парадоксально, но эта война, развернувшаяся от горизонта до горизонта, породившая грязь и уродство наземных схваток, в сознании соединилась также с великолепными небесными зрелищами. И вот быстро несущиеся по ночному небу метеоры, несмотря на свои, как у воздушных змеев, хвосты, воспринимались как артиллерийские снаряды и бомбы. Некогда метеоры относили к категории, весьма далекой от техники, их считали посланниками отдаленных королевств, где звезды блещут, словно покрытая льдом колючая проволока. Когда-то давно католическая церковь нарекла Персеиды слезами святого

Лаврентия, поскольку они появляются накануне дня его памяти, однако и более научный образ – грязные снежные комья, смываемые невидимыми волнами с края Солнечной системы и несущиеся к Земле, – представляется не менее волшебным.

Глава восьмая

Лутц Гек унаследовал Берлинский зоопарк от своего прославленного отца в 1931 году и почти сразу же начал менять его экологию и идеологию. Во время Олимпийских игр 1936 года, проходивших в Берлине, он открыл «Германский зоопарк», посвященный дикой природе страны, – в центре располагалась «Волчья скала», которую окружали вольеры медведей, рысей, бобров и других местных видов. Этот подчеркнутый патриотизм, делавший упор на привычную животную среду и отметавший необходимость ездить в разные концы света и искать экзотические виды, выражал весьма похвальную идею, и, если бы Гек развернул подобную экспозицию в наши дни, никто не стал бы спрашивать его о мотивах. Однако в ту эпоху, при его убеждениях и ультранационализме его семьи, он явно хотел угодить своим друзьям-нацистам, делая свой посильный вклад в осуществление идеи о превосходстве германской расы. На фотографии 1936 года Гек с Герингом запечатлены во время охоты в Шорфхайде, где у Гека было самое крупное из прусских поместий, а еще через год Гек вступил в НСДАП.

Охотник на крупную дичь, Гек ощущал вкус к жизни, лишь наполняя ее опасностями и приключениями. Несколько раз в год он отправлялся в экспедиции, чтобы привезти животных для своего зоопарка, а заодно и добыть пару голов с длинными рогами для украшения стены в доме или встретиться нос к носу с разъяренной, вставшей на дыбы медведицей-гризли. Он обожал смертельный риск дикой охоты, особенно в Африке, о которой рассказывал в своих научных письмах, – их он писал при свете фонарика, примостившись на походном стуле рядом с жарким костром, пока его товарищи спали, а в непроглядной темноте ворчали невидимые львы. «Передо мной мерцает костер, – писал он, – а у меня за спиной, в черной бесконечности возятся невидимые и загадочные дикие звери»^[17]. В одиночестве, но едва ли испытывая страх в окружении хищников, он воспроизводил дневные подвиги чернилами на бумаге, иногда чтобы не забыть, иногда чтобы поделиться с друзьями из другой реальности, из той самой Европы, которая казалась ему далекой планетой. К его письмам часто прилагались фотографии, на которых он был запечатлен в момент охоты: заарканивал жирафа, вел за собой детенышей носорога, ловил трубкозуба, уклонялся от атакующего слона.

Гек любил коллекционировать трофеи, напоминающие о первобытной составляющей его натуры, которая проявлялась в далеких диких краях: живые звери, чтобы показывать их в зоопарке, мертвые звери, чтобы набить чучело, фотографии, чтобы вставить в рамку и выставить на всеобщее обозрение. В лучшую пору своих путешествий он, кажется, коллекционировал саму жизнь, ведя многотомные дневники, делая сотни фотографий, выпуская популярные книги (такие как «Мои приключения с животными»), которые иллюстрировали его страсть к жизни в дикой природе и где он в подробностях описывал примеры удивительной храбрости, выносливости и смекалки. Гек знал свои сильные стороны, восхищался геройским началом в себе и других и умел рассказать за выпивкой на ежегодных встречах какую-нибудь захватывающую байку. Хотя порой он явно сочинял небывлицы о самом себе, свойства его характера соответствовали его профессии, которая всегда привлекала людей с жадной открывать новое, бегущих от оседлой жизни, мечтающих о больших испытаниях, какие помогают ощутить бренность собственного существования. Без таких, как Гек, на картах до сих пор изображали бы плоский мир, и никто не верил бы в

то, что у Нила есть исток. Время от времени Гек истреблял драконов – точнее, их реально существующие прототипы, – но в основном ловил зверей, фотографировал и с удовольствием показывал их публике. Страстный и целеустремленный, когда его внимание привлекало какое-нибудь животное, не важно, дикое или домашнее, чтобы получить его, он шел на любые ухищрения и уловки и не отступал до тех пор, пока не одолевал зверя или не уламывал его хозяина.

Не одно десятилетие братья Гек добивались одной фантастической цели, решения задачи, которая занимала Хайнца и которая полностью захватила Лутца, – возродить три вымерших вида: лошадей времен неолита, известных как лесные тарпаны; тура (дикого прародителя крупного рогатого скота в Европе) и зубра, европейского или лесного бизона. Накануне войны братья Гек вывели животных, близких к турам и тарпанам, однако породы, сохранившиеся в Польше, ближе соответствовали эталонному типу, в них отчетливее читались наследственные черты.

Гекам требовались доисторические, нетронутые внутривидовым смещением особи, и хотя Лутц рассчитывал упрочить свой авторитет и снискать славу, им двигали и более личные мотивы – его будоражила мысль вернуть к жизни истребленных, почти волшебных животных, самому распорядиться их судьбой, охотиться на них ради развлечения. Генная инженерия появилась только в семидесятых годах, поэтому он решил прибегнуть к евгенике, традиционному методу выведения пород животных, которые отличались бы определенными качествами. Гек рассуждал примерно так: животное наследует от каждого родителя по пятьдесят процентов генов, и гены даже истребленного животного сохраняются в генофонде оставшихся, поэтому, если соединить эти гены, скрещивая животных, больше всего похожих на истребленных, со временем можно получить их восстановленного чистокровного предка. Война предоставила ему возможность грабить зоопарки и дикую природу Европы в поисках лучших представителей вида.

Так получилось, что все выбранные им животные благоденствовали на территории Польши, а их историческим местом обитания была Беловежская пуща, и печать уважаемого польского зоопарка должна была легализовать его деятельность. Когда Германия захватила Польшу, Гек принялся обыскивать крестьянские хозяйства в поисках кобыл, имевших в облике черты тарпанов, чтобы скрестить их с несколькими сохранившимися в чистоте породами, включая шетлендских пони, арабских лошадей и лошадей Пржевальского, в надежде вернуть исчезнувшее животное, дикую, едва ли поддающуюся приручению лошадь, изображения которой, сделанные охрой, находятся в пещере Кро-Маньон. Гек рассудил, что для ее восстановления потребуется не так уж много поколений – может быть, шесть или восемь, – поскольку последние тарпаны бродили по лесам северо-восточной Польши еще в 1700-е годы.

В ледниковый период, когда ледники полностью покрывали Северную Европу и продуваемая всеми ветрами тундра простиралась до самого Средиземного моря, густые леса и обильные луга предоставляли убежище громадным табунам тарпанов, которые бродили по низменностям Центральной Европы, кормились в степях Восточной Европы и галопом носились по Азии и обеим Америкам. В V веке до нашей эры Геродот писал, с каким восторгом он наблюдал, как табуны тарпанов пасутся на заболоченных низменностях, ныне оказавшихся территорией Польши. Веками чистокровные тарпаны обманывали охотников, каким-то образом выживая в Европе, однако к XVIII веку их осталось немного, частично из-за того, что мясо тарпанов ценилось – оно было сладким, но, что важнее, редким, – а

частично из-за того, что тарпаны скрещивались с одомашненными лошадьми, производя плодовитое потомство. В 1880 году, спасаясь от людей, последняя дикая кобыла погибла, сорвавшись в расщелину на территории Украины; последний тарпан, живший в неволе, умер спустя семь лет в Мюнхенском зоопарке. С этого момента вид считался официально истребленным – просто еще одна глава в анналах жизни на Земле.

Люди одомашнили диких лошадей примерно шесть тысяч лет назад и тут же принялись совершенствовать их: непокорных убивали на еду, а разводили послушных, чтобы вывести лошадь, на которой легко ездить верхом и пахать. В ходе этого отбора мы перекроили природу лошади, вынудив ее скрывать свою живость, непокорность, тайную *дикость*. Живущие обособленно, пасущиеся свободно лошади Пржевальского сохранили этот огонь, и Гек собирался примешать их боевой дух к новому генетическому коктейлю тарпанов. История приписывает «открытие» диких азиатских лошадей, случившееся в 1879 году, русскому исследователю польского происхождения полковнику Николаю Пржевальскому, что следует из названия лошади, хотя, разумеется, она была прекрасно известна монголам, которые называли ее *тахки*. Гек включил в свою формулу выносливость *тахки*, их горячий нрав и внешний вид, однако он рассчитывал получить другое создание, гораздо более древнее, – лошадь, которая господствовала в доисторическом мире.

Какой впечатляющий образ – великолепная, возбужденная лошадь, роющая землю всеми четырьмя копытами, красноречиво декларируя этим свою непокорность. Хайнц Гек писал после войны, что они с братом затеяли проект по обратной селекции^[18] не только из любопытства. Если уж человека нельзя остановить на пути безумного уничтожения себе подобных, а также других существ, есть хотя бы небольшое утешение в том, что какой-то вид животных, уже истребленный, можно снова вернуть к жизни. Но к чему скакать на тарпанах, если нет достойной дичи для охоты?

Лутц Гек вскоре занялся зубрами, включая и тех, которые были украдены из Варшавского зоопарка. Он полагал, что под покровительством лесного духа Беловежской пуши они смогут благоденствовать, как благоденствовали их предки. Геку представлялось, как зубры снова бродят по дикому лесу, солнечный свет сочится между ветвями стофутовых дубов и лесной массив так и кишит волками, рысями, дикими кабанам и прочей дичью, к которой уже скоро, надеялся он, присоединятся и табуны древних лошадей.

Гек также искал легендарного быка, тура; некогда это было самое крупное сухопутное животное в Европе, прославившееся своей силой и свирепостью. Когда льды ледникового периода растаяли, примерно двенадцать тысяч лет назад, большинство гигантских млекопитающих исчезло, однако в холодных лесах Северной Европы некоторое количество туров уцелело, и весь современный крупный рогатый скот произошел от этих немногих, потомков которых не без труда одомашнили восемь тысяч лет назад. Поскольку тур был истреблен в 1600-е годы – недавно, по меркам эволюции, – Гек был уверен, что сможет его воссоздать и, воссоздав, заодно спасти от «расовой деградации». Он мечтал, что этот бык, наряду со свастикой, станет, может быть, неотделим от нацизма. На некоторых рисунках того времени тур и свастика объединены в эмблему, сочетающую идеологическую податливость с неистовой силой.

Многие древние культуры поклонялисьтуру, в особенности в Египте, на Кипре, Сардинии и Крите (один из знаменитых правителей которого, полубык-получеловек, как гласит легенда, был зачат от священного быка). В греческих мифах сам Зевс часто принимал обличие быка, чтобы овладеть зачарованными его видом смертными девами и производить

на свет потомков, наделенных волшебными способностями. Европу, дочь финикийского царя, Зевс соблазнил в образе тура, громадного черного быка с короткой бородой и гигантскими, выставленными вперед рогами (как на шлемах героев «Нибелунгов»). Разве можно найти лучший тотем для Третьего рейха? Страсть Гека к этому проекту разделяли высокопоставленные офицеры нацистов, полагая, что труды Гека направлены не просто на воссоздание истребленных видов. Когда Гитлер пришел к власти, биологические устремления нацистов^[19] породили множество проектов по восстановлению расовой чистоты, возводящих в рамки закона стерилизацию, эвтаназию и массовые убийства. Один из ведущих ученых Третьего рейха, коллега и добрый друг Гека Ойген Фишер, основал Институт антропологии, наследственности человека и евгеники, поддерживавший Йозефа Менгеле^[20] и других докторов-садистов из СС, которые приравнивали узников концлагерей к подопытным морским свинкам.

Ойгена Фишера зачаровывала физическая сила, энергичные, мужественные натуры – их природная смелость, дерзновенность, ярость, выносливость, умственное здоровье, чувственность, сила воли, – и он верил, что генетические мутации у человеческих существ так же разрушительны, как и у одомашненных животных, и скрещивание видов ухудшает человеческую расу точно так же, как уже ухудшило некоторых «прекрасных, добрых и героических» диких животных, лишившихся своего мощного начала в генетической неразберихе. Корни нацизма питали оккультные учения, из которых черпали свои идеи «Общество Туле», «Германенорден», «Народное движение», пангерманизм и прочие националистические движения, взявшие за основу идею превосходства расы арийских боголюдей. Идея расового превосходства находила подтверждение в том, что древний гностицизм предков-сверхчеловеков принес арийцам мудрость, власть и процветание в доисторическую эпоху, однако был вытеснен чуждыми и враждебными культурами (а именно иудаизмом, католицизмом и франкмасонством), причем эти предки, по-видимому, зашифровали свое спасительное знание разными способами (например, в рунах и мифах), и расшифровать его способны только их духовные наследники.

Идея расовой чистоты по-настоящему расцвела у Конрада Лоренца, лауреата Нобелевской премии, ученого, работы которого высоко ценили в нацистских кругах. Лоренц разделял взгляды Освальда Шпенглера, изложенные в «Закате Европы» (1920), согласно которым культуры неизбежно угасают, – однако не его пессимизм. Напротив, Лоренц обратился к теме одомашнивания животных, видя в этом пример упадка культуры из-за случайного скрещивания сильных, крепких животных и самого рядового скота, и нашел биологическое решение – расовая гигиена: «расовая политика, проводимая сознательно, на научной основе»^[21], при которой оскудение предотвращается путем исключения «дегенеративных» типов. Лоренц использовал термины «виды», «раса» и «Volk» как синонимы и предостерегал, что «здоровое народное тело зачастую „не замечает“, как в него проникают элементы разложения»^[22]. Описывая это разложение как рак у физически ущербных людей и настаивая на том, что смысл существования любого здорового животного – выживание его вида, он прибегал к этической заповеди, которая, по его словам, содержалась в Библии: «Возлюби будущее своего Volk превыше всего на свете», – и призывал разделить людей на «полноценных» и «малоценных» (в эту категорию попадали целые расы и все рожденные с умственными и физическими отклонениями), уничтожая слабых и в мире людей, и в мире животных.

Гек соглашался с Лоренцом и намеревался ни много ни мало исправить природный мир Германии, очистить его, отполировать и довести до совершенства. С самого начала искренне поверив в зарождающийся нацизм, Гек снискал расположение СС, проникся верой Фишера и Лоренца в расовую чистоту, сделался любимцем Гитлера и в особенности Германа Геринга^[23], своего идеального заказчика. В этой гигиенической утопии задачей Гека, по сути, было заново изобрести природу, и в Геринге он нашел щедрого покровителя с тугим кошельком. Взамен Гек хотел передать во владение Герингу величайшее природное сокровище Польши, фантастический, застывший во времени лес на польско-белорусской границе, Беловежскую пуцу. Как рассудил Гек, это лучший подарок человеку, который помечал гербом едва ли не все свои вещи и любил одеваться в псевдосредневековый наряд, состоявший из длинного кожаного колета, мягких высоких сапог и пышных шелковых рубашек, расхаживая в таком виде по дому и поместью с копьем в руке. Многие аристократы занимали ключевые посты в партии нацистов, у большинства представителей высшего командования имелись свои охотничьи домики или поместья, и потому важной составляющей трудов Гека было обеспечить их лучшими заповедниками для охоты, заселив их новой дичью. Полная средневековых замков, унаследовавшая единственный в Европе реликтовый лес, Польша могла похвастаться великолепными охотничьими угодьями, одними из лучших на континенте. На довоенных фотографиях Геринг запечатлен в своем шикарном охотничьем домике на северо-востоке от Берлина, в поместье, которое протянулось до Балтийского моря, – шестнадцать тысяч акров частного заповедника, населенного лосями, оленями, дикими кабанам и прочей дичью.

В целом нацисты были пылкими любителями животных и защитниками окружающей среды, они пропагандировали гимнастику и здоровый образ жизни, регулярные выезды на природу, а придя к власти, ратовали за права животных. Геринг гордился тем, что финансирует заказники («зеленые легкие»), предназначенные и для охоты, и для сохранения природы, и строит огромные скоростные шоссе, с которых открываются живописнейшие виды. И это нравилось Лутцу Геку, как и многим другим ученым мирового уровня, таким как физик Вернер Гейзенберг, биолог Карл фон Фриш, конструктор ракет Вернер фон Браун. В Третьем рейхе животные считались благородными, сказочными, едва ли не ангельскими созданиями, включая, разумеется, и людей, но только не славян, не цыган, не католиков и не евреев. Хотя подопытных Менгеле могли оперировать и вовсе без всяких обезболивающих, известен поразительный пример нацистской любви к животным, когда один ведущий биолог был наказан за то, что в ходе своих экспериментов давал червякам недостаточно анестезии.

[24]

Когда ввели затемнение и большинства животных уже не было, заря перестала возвещать о себе проникающим в спальню светом и началом фантастического зоопарковского хорала. Просыпались в темноте и тишине, поскольку окна спальни были забиты фанерой и почти все голоса животных были либо не слышны, либо вовсе отсутствовали. В этом могильном безмолвии становились различимее звуки тела, было слышно, как пульсирует кровь и набирают воздух легкие. В глубокой тьме светлячки плясали перед глазами, обращенными внутрь себя. Если Ян одевался возле двери на террасу, Антонина уже не видела его. Если она протягивала руку на его сторону кровати, хлопая по подушке и никого на ней не находя, ее, наверное, охватывали воспоминания о жизни зоопарка до войны, и она погружалась в ясные фантазии своих детских книжек. Но в день визита Гека Антонину ждали дела, потому что некоторые животные все-таки сохранились, и их нужно было кормить, Рыся нужно было собрать в школу, а дом – подготовить к визиту гостя.

Антонина писала, что считала Гека истинным немецким романтиком, наивным в своих политических взглядах, возможно кичливым, но галантным и представительным. Ей льстило его внимание, она знала от одного общего друга, что напоминает Геку его первую большую любовь, – во всяком случае, так тот уверял. Их пути редко пересекались, однако Антонина с Яном время от времени посещали Берлинский зоопарк, а Гек присылал им фотографии из экспедиций вместе с сердечными письмами, в которых хвалил их работу.

Антонина выбрала одно из нескольких платьев в горошек, которые считала подходящими для светских мероприятий (некоторые были отделаны кружевом или гофрированным воротничком). На фотографиях она почти всегда в платьях в мелкий горошек, похожий на пятна рыси, или же в крупный, на черном или темно-синем фоне, который хорошо оттеняет ее светлые волосы.

Ян и Антонина еще с крыльца увидели, как машина Гека въезжает в главные ворота, и они, без сомнения, улыбались, когда он подъехал.

– Здравствуйте, друзья! – сказал Гек, выходя из машины.

Рослый, мускулистый мужчина, с зачесанными назад волосами и темными, аккуратно подстриженными усами, Гек ходил теперь в мундире нацистского офицера, и впечатление от этого было хотя и ожидаемое, но неприятное, потому что они привыкли видеть его в штатском, в униформе зоопарка или в охотничьем костюме.

Мужчины сердечно пожали руки друг другу, руку Антонины Гек взял в свою и поцеловал. В этом не было ничего необычного, поскольку такова была традиция, но вот как именно этот «истинный немецкий романтик» мог ее поцеловать? Небрежно или с нарочитой почтительностью? Губы коснулись кожи или чмокнули воздух? Как и рукопожатие, поцелуй руки может отражать тонкие чувства: преклонение перед женственностью, разбитое сердце, вынужденную покорность, выказанную на мгновение тайную любовь.

Гек с Яном наверняка говорили о разведении редких животных, в особенности тех, которые так волновали Гека, чья миссия в жизни – кто-то сказал бы, одержимость – идеально согласовывалась с желанием нацистов ездить на чистокровных лошадях, охотясь на чистокровных животных.

Что касается редких видов, Ян с Лутцем оба питали любовь к польским эндемикам, в особенности к огромным и косматым лесным зубрам (*Bison bonasus*), бородатым кузенам североамериканского бизона (*Bison bison*), самым крупным сухопутным животным Европы. Будучи признанным специалистом по этим жвачным, Ян играл ключевую роль в Международном обществе по сохранению зубра, основанном в Берлине в 1923 году, первоочередной задачей которого был поиск всех уцелевших лесных зубров в зоопарках и частных зверинцах. Они нашли пятьдесят четыре особи, в основном довольно старых, и в 1932 году Хайнц Гек зафиксировал их происхождение в первой международной племенной книге зубров^[25].

Позже Антонина писала, что Гек предавался воспоминаниям об их довоенных встречах, подчеркивал, как много у них общего, снова и снова хвалил их работу с молодняком, и она ощущала себя обнадеженной. Наконец разговор коснулся настоящей причины визита Гека.

– Я даю вам честное слово, – сказал он серьезно. – Можете мне верить. Хотя я на самом деле не обладаю никаким влиянием на высшее немецкое командование, я все равно постараюсь убедить их проявить терпимость к вашему зоопарку. А пока что перевезу самых ценных ваших животных в Германию и клянусь, им будет обеспечен надлежащий уход. Друзья мои, прошу вас, считайте, что предоставляете своих зверей взаймы, а сразу же после войны я их вам верну. – Он ободряюще улыбнулся Антонине. – И я лично буду заботиться о ваших любимцах, о рысях, госпожа Жабинская. Я совершенно уверен, что они обретут прекрасный дом в моем зоопарке в Шорфхайде.

После этого разговор перешел на щепетильные политические темы, в том числе и относительно судьбы изрешеченной бомбами Варшавы.

– По крайней мере, кое-что можно отпраздновать, – сказал Гек, – этот сентябрьский кошмар Варшавы позади, вермахт больше не собирается бомбить город.

– А что вы будете делать со своими редкими животными, если война приблизится к вам?

[Купить полную версию книги](#)

notes

За несколько лет до этого грабители проникли в птичник Варшавского зоопарка и украли несколько сов, ворона и кондора; следователи предположили, что сов и ворона прихватили, чтобы направить расследование по ложному следу, а истинной целью злоумышленников был кондор, поскольку цены на этих птиц на черном рынке выросли до небес. В другой раз украли птенца пингвина. Кражи в зоопарках происходят повсеместно, обычно их заказывают селекционеры или лаборатории, но иногда и частные коллекционеры. Примечательно, что прекрасный какаду, похищенный из Дуйсбургского зоопарка, впоследствии был найден в виде чучела в квартире одной супружеской пары, которой преподнесли его в качестве подарка на годовщину свадьбы. – *Здесь и далее примеч. автора.*

Палка-скакалка (пого-стик), вошедшая в моду в 1920-е гг., была запатентована американцем Джорджем Хансбургом.

Фламинго только выглядят так, будто их колени выгнуты назад, однако на самом деле это их лодыжки. Колени расположены гораздо выше и скрыты оперением.

Окружающая среда (нем.).

Большинство перечисленных ниже подробностей сообщает Хелена Богушевская, у которой был в Реентувке домик по соседству.

Воспоминаниям Антонины вторят воспоминания Виктора Окулича-Козарина, ныне инженера на пенсии, который наблюдал то же самое в детстве и рассказывает, как «немецкие самолеты пролетали низко над толпой, стреляя, убивая множество людей... два польских самолета атаковали над полем немецкий бомбардировщик, он загорелся, а потом одинокий парашют опустился рядом с лесом».

Музыкальные автоматы, джук-боксы, были изобретены в 1930-е гг., и их часто устанавливали в придорожных закусочных, или джуках, – этим словом креолы из Каролины называли заведения, сочетавшие в себе бордель, игорный притон и дансинг.

Голубиное горло (*фр.*).

«Не буду служить» (*лат.*).

Warsaw and Ghetto. Warsaw: B. M. Potyralsey, 1964.

Gutman Israel. Resistance: The Warsaw Ghetto Uprising. New York: Houghton Mifflin, 1994.
P. 12.

Proceedings of the Trial of the Major War Criminals Before the International Military Tribunal, Nuremberg. Vol. 290. ND 2233-PS; *Read Anthony*. The Devil's Disciplines: Hitler's Inner Circle. New York: W. W. Norton, 2004. P. 3.

Zamoyski Adam. The Polish War: A Thousand Year History of the Poles and Their Culture. New York: Hippocrene Books, 1994. P. 358.

Ян Жабинский рассказывал об этом в интервью еврейской газете в Израиле, когда Жабинским было присвоено звание «Праведники мира». Газетную вырезку предоставил Рышард Жабинский.

Хайнц Гек в 1928 г. сделался директором Хеллабрунна, зоопарка в Мюнхене, и оставался им до 1969 г.

Искусственный язык эсперанто был изобретен в 1887 г. в Белостоке Людвиком Лазарем Заменгофом, врачом-окулистом, взявшим себе псевдоним *Doktoro Esperanto* (Доктор Надежда). Наблюдая многонациональное общество Белостока, он заметил, сколько недоверия и недопонимания между этническими группами возникает из-за языкового барьера, поэтому разработал язык-посредник.

Heck Lutz. Animals – My Adventure / Transl. by E. W. Dickies. London: Methuen, 1954. P. 60.

Польский ученый Тадеуш Ветулани за несколько лет до Гека занимался таким же проектом по обратной селекции; не добившись успеха, Гек присвоил данные исследований Ветулани, а заодно и тридцать животных, которых отправил в Германию, поселив сначала в Роминтенской, а затем в Беловежской пуще.

Хотя Гитлер публично прославлял прекрасную и жизнеспособную арийскую расу, Геббельс страдал косолапостью, Геринг, пристрастившийся к морфию, – лишним весом, а самого Гитлера к концу войны мучил третичный сифилис, тяга к амфетаминам и барбитуратам и, вполне вероятно, болезнь Паркинсона. Личный врач Гитлера, Тео Морелль, известный специалист по сифилису, сопровождал его повсюду, держа наготове шприц и завернутые в золотую фольгу витамины. На одной редкой киноплёнке видно, как Гитлер уверенно протягивает правую руку, пожимая руки выстроенным перед ним мальчикам, тогда как левая, спрятанная за спиной, обнаруживает характерный при болезни Паркинсона тремор.

А что за витамины были в фольге? Согласно криминологу Вольфу Кемперу («Nazis on Speed: Drogen im 3. Reich», 2002), вермахт обеспечивали разнообразными медикаментами, способными повышать внимание, выносливость, смелость, в то же время снижая чувство голода, усталости и боли. В период с апреля по июль 1940 г. в войска было отправлено 35 млн доз наркотика по три миллиграмма, а также влияющие на настроение амфетамин, первитин и изофан.

В письме от 20 мая 1940 г. двадцатидвухлетний Генрих Белль, на тот момент находившийся в оккупированной Польше, несмотря на свое «непоколебимое (и до сих пор непобежденное) отвращение к нацизму», просил мать в Кельне прислать ему дополнительные дозы первитина, который гражданские в Германии покупали из-под полы для собственных нужд (*Heston Leonard L., Heston Renate. The Medical Casebook of Adolf Hitler. London: William Kimber, 1979. P. 127–129*).

Йозеф Менгеле вырос в семье баварского промышленника и в официальных анкетах в графе «Религия» указывал католицизм (вместо «веры в Бога», как предпочитали нацисты). Его интересовали генетические патологии, и у Ангела Смерти из Освенцима, как его прозвали, было полно детей для проведения опытов, которые Франкфуртский суд впоследствии объявил чудовищными преступлениями, совершенными «умышленно и кровожадно», часто включавшими вивисекцию и убийство. «Он был жестоким, но в извращенно джентльменской манере», – сказал о нем один заключенный, а некоторые описывали его как «очень шутиwego», «похожего на Рудольфо Валентино», вечно благоухавшего одеколоном. (Цит. по: *Lifton Robert Jay. The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide. New York: Basic Books, 1986. P. 343.*) «Выбирая людей для уничтожения или убивая их собственноручно, Менгеле проявлял поразительную беспристрастность – можно даже сказать, незаинтересованность – и деловитость», – заключает Лифтон (p. 347).

Когда прибывали новые узники, охранники ходили вдоль рядов, выкрикивая «Zwillinge, zwillinge!», выискивая близнецов для изуверских опытов Менгеле. Любимой темой его исследований было изменение цвета глаз, и на одной из стен в его кабинете была выставлена коллекция глаз, извлеченных хирургическим путем, нанизанных на булавки, словно коллекция бабочек.

Deichmann Ute. Biologists Under Hitler / Transl. by Thomas Dunlap. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1996. P. 187.

Lorenz Konrad. Durch Domestikation verursachte Störungen artewigen Verhaltens // Zeitschrift für angewandte Psychologie und Charakterkunde. 1940. Vol. 59. P. 69.

Войдя в ближайшее окружение Гитлера, он быстро дорос до рейхсминистра авиации, а также сделался имперским лесничим Германии (рейхсфорстмайстером) и имперским егерем Германии (рейхсегермайстером). Более чем просто заядлый охотник – однажды ему прислали во Францию оленя из его поместья, чтобы он мог выследить и застрелить его, – Геринг отождествлял охоту со своей отроческой жизнью в замке и мечтал об обретении Германией утраченного ею величия. «Наше время еще придет!» – заявлял он. Выходные он проводил в лесах, хватаясь за любую возможность объединить политику с охотой, часто приглашая к себе любителей охоты и высокой кухни. Гитлер не охотился, хотя частенько расхаживал в охотничьем наряде, особенно в своей альпийской резиденции, словно в любой момент мог выпустить сокола или вскочить в седло и погнаться за оленем с ветвистыми рогами.

Геринг обожал охоту на кабана и хвастал традиционным пятидесятидюймовым копьем для кабаньей охоты, с наконечником из голубой стали листовидной формы, древком из красного дерева, окованным железом, с двумя металлическими полыми шариками, которые гремели, вспугивая добычу и выгоняя ее из подлеска.

Геринг десятки раз выезжал на охоту с друзьями, высокопоставленными иностранными гостями и членами высшего командования Германии в период с середины тридцатых годов и до конца 1943 г.; судя по документам, даже в январе и феврале 1943 г., когда Германия несла потери на фронтах, Геринг проводил время в своем замке, охотясь на диких кабанов из Роминтенской пуши и прусских королевских оленей. (В это же время он ввел уроки бальных танцев для офицеров люфтваффе.)

Так много книг написано о повседневной жизни в гетто, об облавах на евреев, об ужасах лагерей смерти, что я не стану их перечислять. Особенно запомнился мне рассказ о восстании в Варшавском гетто, написанный Леоном Найбергом (Leon Najberg, «A Fragment of the Diary of the Rubbish Men»), который с оружием в руках сражался среди руин до конца сентября.

Книга издается и по сей день, хотя теперь она выходит в Польше. Никакой генетической информации по диким зубрам не записывается, лесники просто присматривают за ними и ведут учет. Более подробно см. об этом: *Daszkiewicz Piotr, Aikhenbaum Jean. Aurochs, le retour... d'une supercherienazie. Paris: HSTES, 1999; Fox Frank. Zagrożone gatunki: Żydzi i żubry (Endangered Species: Jews and Buffalo) // Zwoje. 2002. January 29.*